

P2
Г20
21960

В Тарновский
Осенние
озёра



2 1960

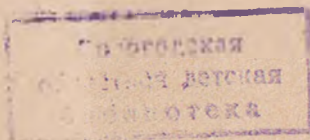
САНОВСКИЙ В
ОЗЕРА

Виталий ГАРНОВСКИЙ

15 С. 2.
88
4

ОСЕННИЕ
ОЗЕРА

21960 с. 2.



СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1969

Виталий Гарновский — автор нескольких книг. Герои нового сборника «Осенние озера» — люди северной деревни. В рассказах В. Гарновского мы встречаемся с колхозниками, охотниками, рыбаками, плотовщиками. Каждый из них по-своему неповторим. Это — живые, цельные натуры, по-русски щедрые на сердечные человеческие чувства.

Автор отлично знает природу, она органично входит в его рассказы. Любовь к природе и красоте человеческой — вот главное, что отличает творчество В. Гарновского.

ДРЕВНИЙ ОКЛИК

ОЧЕНЬ хочется спать, но разве уснешь сидя? А лечь негде. Анатолий вздрагивает, зевает, проводит рукой по лицу. Сон как будто отлетает. Грезилось что-то в дремоте, да позабылось, едва раскрыл глаза. А здесь все по-прежнему: лениво, с шипеньем не столько горят, сколько тлеют толстенные осиновые плахи на кострище, разложенном на слое глины, сияя весенняя ночь молчалива и дремотна. Слышно, как глухо ворчит вода, выбиваясь из-под кормы буксирного парходика, упрямо волокущего огромный плот. Впрочем, это сооружение называют плотом по старой памяти: бревна в округлых пучках, стянутых проволокой. В каждом пучке не меньше полусотни еловых и сосновых кряжей. Десятки таких пучков опять-таки связаны проволочными тяжами в подобие длиннущей бревенчатой гибкой змеи. Между пучками метровые щели «прогалок», в которых плещется мутная вешняя вода.

Анатолий морщится от дыма, метнувшегося ему в лицо, в который уже раз, скучая, рассматривает своих спутников. Их двое: старший плотовщик, пожилой, неразговорчивый Егор Егорыч и такой же, как и Анатолий, пассажир, старик Вавилов в полушубке и зимней шапке. Этот словоохотлив.

— Сколько годиков не приходилось мне этак-то на плоту посидеть, а вот пришлось, — бубнит старик. — Смолоду поработано было на родимой реченьке, ой, поработано! От багра на ладонях мозоли по медному пятаку наращивал. Наши поречане на реке свой хлеб добывали. Да! Она, матушка, нас

кормила! Наделы у нас были маленькие, скудные — песок да глина. Ну, а на плотях, бывало, на весь год хлебом запасешься, ежели к багру привычен.

Старик и Егор Егорыч — из одной деревни, поэтому плотовщику давно известны дедовы рассказы. Впрочем, старик говорит не для него, для Анатолия: человек он молодой, пусть послушает, поучится у старых людей. Да и ночь за рассказами коротается быстрее.

— Я, Толенька, коренной поречанин, — продолжает старик. — Меня маменька на плоту и родила. Меня и сестру мою Аксинью.

— На плоту? — позевывая, интересуется студент.

— На плоту, на плоту. А было это, паренек, семьдесят годиков назад. Тогда плоты в однорядку вязались. И гнали их без буксиров, по теченью, до пристани. Там уж их буксирам передавали. Это, не врать, сорок две версты рекою. На переднем плоту у потеси — старшой плотогон, на заднем — концевой, переднего слушается. Тот либо крикнет, куда потесью загребать, либо рукой махнет. Вот и взялся мой отец гонку гнать. И нужен ему концевой. Со стороны человека приглашать невыгодно: все старались, чтобы и концевой из своей семьи был, тогда весь заработок за прогон в одном доме. Со стороны возьми человека — отдай ему третью часть. А у отца в ту пору работников в доме только он сам, а в семье трое ребятишек-малолеток да бабушка Лукерья Михайловна, совсем ветхая старушка. Ну и матушка моя на последней поре ходила, вот-вот рожать будет. Собирается отец, а мать ему и говорит: «Михайло, я с тобой в концевых поплыву, все-таки лишний рубль в семье останется. Ведь дело-то мне с девок знакомое». — «Да что ты, Татьяна, — это мой отец ей, — одумайся, не ко времени ты это говоришь!» — «Ничего, Михайло, я рожать малость обожду как-нибудь». На своем настояла. Ну и поплыли. И занесло ихний плот на Сквородку...

— Худое место. Поганое! — мрачно подтверждает Егор Егорыч.

— Это что же такое — Сквородка? — спрашивает Анатолий.

— А это по левому берегу ниже Сомина ручья заводина такая есть. При вешней воде получается круглая, как сковорода. Не остережется плотогон — глядишь, загнало его плот с главного течения на Сковородку, а там течение все кругом, все кругом. Попробуй-ка перебей его, выйди на главную струю, в реку. Заводина эта широченная, версты две в поперечнике. Бились, бились мои родители на этой Сковородке до утра. Выбрались все-таки в реку. Тут моя маменька меня с сестрицей и родила. Двойню.

— На бревнах и родила? — удивляется Анатолий.

— Было малость соломки брошено, отец догадался, снопок на плот прихватил на всякий случай. Ну, родила маменька, отец, видя такое дело, плот на минутку к берегу приторнул, говорит: «Иди, Татьяна, домой, теперь я и без тебя плот до места доведу, справлюсь». Маменька сапожонки скинула — босиком-то по весенним грязным тропам способнее — и побрела обратно в деревню, да все кустарником, кочками, грязью, топями. Ничего, дошла. Дома баньку вытопила, сначала старших ребятишек перемыла, потом и новорожденных, и себя. Только тогда и прилегла отдохнуть.

— Крепкие люди были! — одобрительно говорит Анатолий.

— Чего крепче! — обрадованно подхватывает старик. — Это нынешняя молодежь жидковата. Где ей! — и машет рукой, заходитесь кашлем.

Все долго молчат. Плахи в костре чадят, шипят, остро пахнет распаренной осиной. Над дальним берегом, над черной стеной бора поднимается луна, бледнеет, становится меньше, и вот уже скользят по речной шире золотые и синие змейки. Бегут, перегоняют друг друга речные струи, вода бугрится, крутится и вновь опадает. Потом дальний берег отдаляется, лес отступает. Загораются огоньки: золотисто-белые — в окнах домов, красные, дрожащие — от костров.

— Костры-то вроде как и у нас, на плотях, — говорит старик. — Не мы одни рекой-то плывем.

И опять они долго молчат. Монотонно бормочет вода по сторонам плота, изредка что-то посвисты-

вает высоко в небе: это пролетают утиные стайки. В тишине возникает где-то далеко-далеко тревожащий, протяжный звук. И еще такой же звук зарождается ближе — теперь понятно, что это человеческий крик. Он то обрывается, то возникает снова...

— Это кто кричит? — почему-то шепотом спрашивает Анатолий. Но ему не отвечают. Егор Егорыч встает, приставляет ладони рупором ко рту и... во весь голос:

— Поглядыва-а-а-й!

Анатолий недоуменно пожимает плечами: чего это плотовщик кричит? А Егор Егорыч, словно выполнив серьезную работу, присаживается к костру, получше укладывает тлеющие плахи, подгребают под них раскаленные угольки, и вскоре огонь разгорается по-настоящему.

Старик только теперь отвечает:

— Это, Анатолий, со старины осталось. Вот так-то плышет, бывало, плот ночью. Приустанет, придремлет плотовщик — глядишь, либо к мели его прикнуло, либо на камни. Ну, чтобы не дремать, чтобы веселее было, он и подает голос, сколь глотка воздуху заберет: поглядывай, мол, посматривай! И сон сгонит. А с других плотов ему тоже откликнутся. И всем веселее, значит, не один ты ночью на реке.

— Так! — соглашается Анатолий. — Это ты верно, дед, говоришь, что со старины это. В древние времена на стенах русских городов воины на страже стояли. Как ночь, они и начнут с башни на башню перекликаться: «Славен град Новгород!», «Славен град Вологда!», «Славен град Москва!» И города славят, и сами не дремлют.

— Ишь ты! — с уважением говорит старик. — Значит, не дремли и товарищу не давай, коли ты при деле. Понятно! Ох-хо-хо! Ночь-то на развале. Хорошо бы в город пораньше приплыть. Я бы прямо к дочке в гости, чайку бы выпил горяченького, потом по делам бы отправился. Перво-наперво в театр...

— В театр? — удивляется Анатолий. — Из родных там кто-нибудь у тебя работает? Навестить?

— Какие там родные! По делу, говорю, туда надо. Лапти я везу, двадцать пар, вон, в мешке. Хоро-

шие, берестяные. Приезжая к нам перед весной один такой очкастый, борода бараном, по-настоящему. Из театра. Искал, кто бы ему лаптей наплел. Постановку какую-то они там ладят ставить из старокрестьянской жизни, и надо, чтобы артисты-крестьяне в лаптях были. А где нонче их купишь? И не носят их давно, и мастера лапотного дела вывелись. Ну а я-то этот промысел еще не забыл. Вот и наслали этого очкастого на меня: сплети да сплети ему лапти, да не одни. Я отвечаю: и лыка, мол, нет, и стар я, руки трясутся, и костыг куда-то заброшен...

— Костыг? — переспрашивает Анатолий.

— Ну да, костыг. По книжному кочедык, а по нашим местам костыг да костыг. Пришлось все-таки заказ принять. Председатель колхоза и тот пришел меня уговаривать: мол, дедушка, лапти для культурной работы нужны. Хорошо, что бересты две мотушки в старом амбаре у меня, не помню уж сколько годов, валялись — пригодились... Ведь зимой лыка не надерешь с березы, береста в теплую пору хорошо с дерева бежит. И еще две мотушки у ровесничка Ильи обнаружил, костыг отыскал. Вот и везу лапти в театр. Завтра там примера будет.

— Премьера! — поправляет его Анатолий.

— Нет, примера. Примеряться, значит, будут, кто как свои слова знает, кто как оденется. Примерка, проще говоря...

Пушечно бахнуло что-то высоко-высоко под бледными звездами. Брызнула из воды рыба мелюзга.

— Самолет пальнул. Реактивный. Скорости себе прибавил, — равнодушно отметил старик, протягивая руки к огню. — Это в Москву летит. И о времени справляться не надо, он ровно в час ночи над нашими местами пролетает. А ты, Анатолий, как в пассажиры на плот попал? В город торопишься?

— Тороплюсь, — отвечает Анатолий. — В институт. На последнем курсе я, весна, экзамены, дипломная. Домой-то заехал, и вдруг дороги перекрыли для автотранспорта: распутица. Пароходы тоже не идут, только начали фарватер обвеховывать. Вот мне и посоветовали до вашей деревни на лошадке, а от вас на плоту...

— Так ты из Залесья? Не Ерофеевых ли?

— Точно. Василия Ерофеева сын.

Егор Егорыч встает, прислушивается к чему-то и вдруг кричит туда, на последний плот, где мутно мерцает фонарь, подвешенный на шестик:

— Богданов! Эй! Богданов! Никак связку порвало! Беги скорей мне навстречу! Богданов!

Но Богданов не отвечает. И плотовщик, схватив багор в правую руку и левой подняв конец пенькового троса, бежит, крепко ступая по бревнам, и конец змеей ползет за ним. Все дальше и дальше слышится его встревоженный голос:

— Богданов, эй, Богданов!

— Спит твой Богданов и горюшка не чует, — вздыхает старик. — Он и вечером на плот явился — хоть выжми. Первая пьянь по деревне. Не взял бы его Егор, да пришлось: в последний момент концевого прислали, некогда другого искать. И не кричи — крепко спит Богданов. Ему что... А ежели связки порвет — беды угол! Пока буксир остановится, да пока опять пучки в плот сведут да свяжут — много времени прйдет. Или хуже того: отнесет оторванные пучки в кусты — попробуй выцарапай их оттудова. Надо бы помочь Егору, да какой из меня помощник? Ни силы, ни сноровки не осталось...

Он говорит еще что-то, но Анатолий уже не слушает его. Схватив багор, лежавший у дощатого шалаша, он бежит вслед за Егором Егорычем.

Бежать нелегко: мокрые еловые и сосновые бревна покрыты раскисшей корой. Ступишь — и она скользит пластинами, скользкая, обманчивая. Надо перепрыгивать с пучка на пучок, и каждый раз Анатолий, прыгнув, едва удерживается на ногах. Наконец он догоняет плотовщика.

Проволочный тяж с левой стороны одного из пучков и в самом деле лопнул. Теперь кормовая часть плота идет за основной пока еще по инерции и по течению. Но скоро — Анатолий это сразу понял — вся сила тяги ляжет только на оставшийся тяж, уже звеневший басовой струной. Выдержит ли он?

— Концом, концом схватить надо! — кричит Егор Егорыч. — На тот пучок надо, на тот! Эх!

Пространство между пучками медленно растет.

Прыжок надо сделать основательный, а Егор Егорыч в тяжелых сапогах с длиннейшими голенищами.

«Прыжок с шестом!» — мелькает в мозгу у Анатолия. Он отбегает назад, затем устремляется вперед и, оперевшись на багор, перепрыгивает на другой пучок. Не устояв, скользит каблуками по коре и падает на бок. Но ему удается ухватиться за поперечную проволочную вязку, только ноги оказываются в воде. Выкарабкавшись на верх пучка, он встает.

— Конец, конец скорей прими, вяжи его за поперечину! — кричит Егор Егорыч, протягивая ему на багре веревочную петлю. — Скорей, а то широко разведет.

Анатолий снова чуть не падает в воду, лоя своим багром пеньковый конец, что подает ему плотовщик. А через минуту они оба, успокоившиеся, уже стоят рядом, лоя момент, когда можно еще более подтянуть пучок...

— Все! — говорит Егор Егорыч. — Пойдем к огню. Тебе обсушиться надо, а я пеньковый конец тяжем заменю.

* * *

Анатолий сидит у огня, сушит сапоги и штаны. Старик подремывает. А Егор Егорыч, захватив проволочный тяж, топор и мятое ведро, идет опять к задним пучкам. Вскоре он возвращается, на четвереньках лезет в будку, копается там и вылезает обратно с пластмассовой голубой фляжкой:

— Ты, Анатолий, ноги насухо оботри. Так, вот так. Теперь вот тебе водки стаканчик. Нет, не пей, ею тоже ноги оботри, ревматизм не пристанет. А этот стаканчик выпей. Вот так!

— Ветерок потянул, светает. И холодней стало! — вздыхает проснувшийся старик. — А по зорьке согреться — первое дело.

Егор Егорыч молча наливает еще стаканчик — старику.

— А сам-то? — говорит тот.

— При деле да на воде — не пью.

Завинтив стаканчик, Егор Егорыч сует флягу в карман и чему-то усмехается.

— Славно! — бормочет старик. — Весь сон прогнало. Эх, не знает Богданов, что здесь водка есть. Прибежал бы!

— Я ему... поднес, — отвечает Егор Егорыч. — Ведро воды на его пьяную голову чокнул. Даже зашипел. А днем я ему еще поднесу. В конторе. Ни копейки не получит. Не за что!

— Правильно! — подтверждает приободрившийся старик. — А гляди-ка, утро уже! В хорошей компании да с разговорами ночь быстро прошла!

А Егор Егорыч опять прикладывает ладони ко рту, и опять над рекой, уже посеревшей, с пятнами ветровой ряби, раскатывается древний оклик:

— Поглядыва-а-а-й!

ОСЕННИЕ ОЗЕРА

ВОТ и видно, что ты стариться начинаешь — все ворчишь, ворчишь и сам не знаешь зачем, — позевывая, говорила жена Андрея Кузнецова, прикрывая за ним дверь. — Ладно, прогуляйся, проветришь, добрей будешь!

В другое время Андрей ответил бы жене резко. Не нравилось ему, что она вроде чаще стала напоминать ему о возрасте. «Сама хороша!» — сказал бы, но сегодня смолчал: в лес идти надо несердитому.

Дверной засов звякнул за ним. Кузнецов постоял на крыльце — очень уж темно было на улице, и за квадратом света, падавшим из окна на дорогу, казалось, стоит черная стена. Черно было и вверху. Но вот жена выключила свет. Кузнецов ощупью спустился с крыльца на улицу. Под ногами хрустнул, тоненько прозвенел ледок, первый еще этой осенью, и тьма стала не такой вязкой и глухой: на фоне чуть светлеющего неба заметны были и крыши домов и даже толстые сучья берез у правления

колхоза. И небо словно поднялось, предрассветное со звездами, у которых, как показалось Кузнецову, был усталый вид: попробуй-ка повиси в небе такую длинную ночь. Он усмехнулся и прибавил шагу, дорожные колеи смутно вырисовывались перед ним.

«Стареть начинаешь» — вот сказала! Как бы не так, за сорок перевалило — это еще не старость... Верно, сегодня он вечером малость не в духе был, так в этом ничего удивительного нет: колхозному бригадиру не до улыбочек. Ну, а вчера — особое дело. Сели всей семьей чай пить, глянул Кузнецов на старшую дочку свою Лидку, и как-то неладно себя почувствовал. Лидка-то девкой становиться начала, под платишком грудь обозначилась. Пятнадцатый год ей пошел, но все еще она девчонкой числилась, а тут... Конечно, время подошло, ей-то, может, и радостно, что выросла, но Кузнецов почувствовал, что его-то молодости конец. И когда она успела проскочить? Тьфу! После чая сказал об этом жене, а она посмотрела на него непонимающе: в чем, мол, дело?

— Подумаешь! Идет жизнь по порядку, чего ты расстраиваешься? Сам, наверно, рад был, когда усы на верхней губе просеклись. Вот только бы к ученью по-прежнему прилежала. Бывает это у девчонок: как только девкой начнет становиться, так и книги в сторону, танцы бы да гулянки. И о платишках подумать надо, о настоящих, она уже на подруг глаза заводит: как, мол, они одеты-обуты?

— Эх, Анна, да не о том я! Неужто не понимаешь...

— Чего понимать-то? Молодые растут, старые старятся. Годов пять-шесть пройдет — глядишь, и в дедушки с бабушкой нас Лидка запишет.

И еще раз отплюнулся Кузнецов. Женщины все на практическую ногу переводят. Скажи Анне, что дождь идет и вроде тоскливей на улице стало, а она сейчас переполошится:

— Ой, белье там вывешено, надо убрать!

Надулся на Анну, замолчал, а она, позабыв об этом разговоре, начала тесто ставить — завтра воскресенье, надо семью пирогом побаловать. Спросила:

— Так пойдешь утром-то, куда собирался?

— Конечно, пойду, чего и спрашивать! С апреля и по сей день выходного не видывал! Хуже нет моей должности, с утра до поздней ночи на ногах. Иной раз в сенокос, скажем, зарядит дождь дня на три, в этом дивного нет, погоду не закажешь. Ну как будто и отдых всей бригаде. А бригадиру—нет! Обязательно либо к тебе прибегут с каким делом, либо сам вспомнишь о недоделанном. А то в колхозное правление вызовут, скажут: пока худая погода, давайте текущие дела обсудим.

Наконец Кузнецов решил устроить себе выходной. Все большие дела завершены: лен со стлищ снят, картофель выкопан, убран куда надо. А дома в выходной оставаться нельзя, найдут. Лучше всего на Глухие озера прогуляться: ружьишко за спину, ну и спиннинг взять — под осень щуки особо жадными становятся. Отдыхать бригадиру, так отдыхать!

Передумывая вчерашнее, мысленно споря с женой и пытаюсь найти веские доводы, чтобы заставить ее понять то, что понимает и чувствует он сам, Кузнецов прошагал полевой дорогой добрый час. Только перед входом в лес остановился закурить и оглянулся. Батюшки, да уже совсем рассвело! Туманно, правда, да это к лучшему: значит, день погожим будет! Небо нежно голубеет. А тишина-то, тишина какая — настоящая осенняя! На старой придорожной ольхе синички вертятся — рано они поднимаются завтракать — и те молчат. И вороны к селу с лесного ночлега летят лениво и молча. Березы и осины в осеннем наряде, а простодушные ольхи все еще не хотят с зеленой листвой расстаться, хотя и вялой она стала и какой-то словно сонной.

Кузнецов зарядил ружье, покачал головой. Патроны еще в позапрошлом году набиты, здорово при выстреле отдачу в плечо дадут. Впрочем, наплевать, двадцатый калибр — не двенадцатый. Вытащил из кармана медный манок на рябчиков и, хотя до настоящих мест было еще не близко, просвистел самочкой. Постоял, прислушиваясь, пока в ушах не зазвенело.

Никто не откликнулся.

Теперь Кузнецов пошел тише, время от времени подзывая рябка-дурачка. И вчерашние да и утренние думы словно ветром унесло куда-то далеко. Остался только лес, все более и более голубеющее небо над ним да вот этот медный маночек, выговаривающий, выпискивающий известную лесную песенку: «Пять, пять, пять тетеревей!»

* * *

Только к полудню вышел он на берег Круглого озера: задержался, охотясь на рябчиков. Добыл трех, но как-то без прежнего азарта. Опять подумалось: «Старею!» День разгорелся на славу—ясный, золотой, почти безветренный. Теперь Кузнецов смотрел не только на деревья, но поглядывал и по низу, высматривал грибы. Осень была теплой, грибной, а Кузнецов не ходил за грибами уже несколько лет.

С великим удовольствием отыскал он несколько крепких боровых рыжиков. Упрямый это гриб, лезет и лезет из земли до самых заморозков. Нашел Кузнецов и волнушки, но они оказались дряблыми, водянистыми. «Не та натура, что у рыжика», — подумал он. Но подобрал и волнушки, решил, как когда-то мальчишкой, испечь их на палочке над углями.

Крохотный костерчик деловито трещал перед ним, и пламя его казалось бледным в такой ясный день. А дымком пахло хорошо — то можжевельной веточкой, то сосновой смолой, то палым листом. Грибы, посыпанные крупной солью, шипели над угольками, сочились мутной влагой, почернели от дыма. «Ничего, это-то и есть самый смак, — решил Кузнецов. — В лесу у них и вкус гораздо лучше, чем за домашним столом. Ребятишки это особенно понимают».

Потом вскипела вода в старом солдатском котелке. Кузнецов снял его с огня, заварил чай, налил кружку и отставил ее — пусть остынет, а сам закурил.

Перед ним лежало первое озеро из восьми, соединенных узкими протоками или небольшими речками, с километр каждая длиной. Хорошо знал эти

озера Кузнецов, ах как хорошо! Охотился и рыбачил здесь то с дедом, то с отцом...

И хотя были озера сродни одно другому, но вода в них была разная. Вот в этом, Круглом, она вроде изжелта, но вкусом приятна. Дальше будет Синенькое — вода в нем даже в пасмурную погоду синевой отдает. А там Черное, Белое... В Белом за три метра в глубине песчаное дно видно, в Черном вода действительно черная, в котелок зачерпнешь — вроде чая. Но тоже вкусная, мягкая. А в Белом и чиста вода, но все же в ней чего-то не хватает. Почему?

Раздумывая об этом, Кузнецов любовался озером — ни морщинки на нем, ни рябинки. Хорош день, тихий! Все как будто пригрелось малость и придремнуло. Только синицы потинькивают и дятел стук, стук, стук. Этот без работы не живет.

Где-то бухнул выстрел. Рыбешка брызнула серебряным овсом над задремавшей водой. Кузнецов подумал:

— Тоже кто-то вроде меня полесничает. Сюда выйдет — побеседуем. На этот мысок обязательно все охотники и рыболовы выходят. Уютное место!

Выстрел раздался снова, ближе. Опять метнулась рыбешка, но не так испуганно, как от первого выстрела.

— Какая все-таки чуткая рыба! — подивился Кузнецов. — Вот как звука боится! Стреляют-то за километр отсюда!

А когда выстрелили в третий раз, Кузнецов нахмурился:

— Что там за битва такая? В кого стреляют? Черт! Опять выпалили!

Стрелявший приближался. Через каждые две-три минуты бухал выстрел. Рыбешка уже не выпрыгивала, надоело, наверно, пугаться. Кузнецов забыл о кружке с чаем, ждал, когда появится стрелок. Надо же узнать, зачем он порох жжет задарма, не может быть, чтобы на каждом дереве по рябчику сидело.

Наконец в болотинке направо зашлепали по лужам шаги, затрещали кусты на косогоре, и на полянку вышел коренастый угрюмоватый парень в за-

пошленном пиджачке, высоких резиновых сапогах и без кепки. Голова его пострижена «под ноль» была, по-видимому, недавно. Парень не удивился, увидев Кузнецова у огонька. Подошел, небрежно бросил ружье на землю, прилег.

— Значит, это ты, Санька, палил? — спросил Кузнецов. Парень был из его бригады.

— Я.

— В кого же это ты раз двадцать выстрелил?

— А так... Пень стоит — в пень пальну, ворона в небе летит — в нее бухну.

— Зачем тебе ворона?

— А низачем. Да и не попадешь в нее. Хитрюга! Иди хоть с палкой, ворона от тебя сразу за сто метров улетит.

— Все-таки, за какой надобностью стрелял?

— А так! Завтра в военкомат еду. Сам знаешь — призван я в армию. В бронетанковые.

— Выходит, что ты сегодня метко стрелять учился?

— Нет. Просто дома скучно сидеть. Мать нет-нет и пустит слезу. А зачем? Не война теперь. Отслужу — вернусь. Вот и пошел в лес. Было у меня двадцать патронов заряженных, дай, думаю, выпущаю их для веселья. И дома спокойнее — братишка Юрка до них не доберется. Молод еще...

— Чаю хочешь? Сходи с котелком за водой, кипяты. Я уже напился.

— Ладно. Отдохну малость и схожу.

— Доволен, что в армию взяли?

— Как сказать? С одной стороны, конечно, доволен. Значит, здоров и доверие ко мне. Годен по всем статьям. А все-таки армия. Не своя воля. Надо подчиняться и прочее.

— Да, пряниками и горячими оладьями со сметаной кормить не будут. Зато вернешься домой — и не узнать тебя будет. Сейчас ты увалень порядочный, а тогда другой коленкор будет.

— Увалень? Кто это сказал?

— Все говорят. Ты этот год в моей же бригаде работал, пригляделся я к тебе. Да ведь, наверно, домой не вернешься. Знаю, сколько ребят из колхоза в армию уйдут, а потом ищи ветра в поле: кто на

целинные земли уедет, кто на Дальний Восток. Будто дома работы нет или природа у нас хуже.

— Что дома-то сидеть? Одно и то же, одно и то же. А так хоть свет посмотришь, в своей жизни пластинку сменишь. Может, и не вернусь...

— А ты вернись. Разве у нас худо? Гляди, озеро-то какие...

— В других местах, может, получше есть.

— Да что с тобой говорить!

Костер прогорел, почти не дымился. Сипела, потряскивала в нем только одна головешка. Удивительная тишина осеннего дня была такой, что боязно громко говорить. Помолчали оба. Потом Санька сказал:

— Еще кто-то сюда идет. Это Филиппов, наверно. Он у Каменного мыса для себя дрова рубил.

— Кто? Петька?

— Угу!

Опять помолчали, прислушиваясь к шлепанью чьих-то ног в болотинке. Кузнецов подбросил сучков на угли, раздул их, и пламя побежало по ним, заговорило, затрещало. Когда, протирая заслезившиеся глаза, Кузнецов разогнулся, Филиппов уже сидел на пеньке, развязывал узелок с едой, басил добродушно:

— Такое уж здесь уютное место: и не хочешь, да придешь к водичке. Давай котелок, Андрей Иваныч, хорошо сухой хлеб горяченьким запить.

Пошел к озеру — широкоплечий, медлительный, но чувалось, медлительность, в нем не от лени, просто бережет человек свою силу до нужного момента.

— Завтра или когда отправляешься? — спросил он Саньку, прилаживая котелок над огнем.

— Завтра.

— Это хорошо. Послужи. Военная служба из нашего брата кислоту выгоняет. По себе знаю. Четыре года служил.

— Понравилось?

— Мне понравилось. Я дисциплину во всем люблю. А в армии порядок!

— Вот, Андрей Иваныч, — повернулся Санька к Кузнецову, — говоришь ты, что ребята из армии в

колхоз не возвращаются. А он? — кивнул он на Филиппова.

— Кто? Я? — ответил Филиппов за Кузнецова. — И так и этак было подумано, а вот лучше не нашел, как домой вернуться. — Он широко улыбнулся. — Город? А вот прошлой зимой меня брат Николай в Петрозаводск в гости пригласил, все зовет меня в город переехать. Ладно! Приехал я к нему, смотрю — тесно живет. Сам, да жена, да ребятишек двое, а комната — восемнадцать метров...

— Зато со всеми удобствами, — вставил Санька.

— Удобства? Паровое отопление, свет, конечно, газ и прочее. А осенью зябнут: сезон для отопления не наступил, жди первого сентября или какого там числа. У меня здесь лучше. Вот я дров наготовил. Будет в избе холодно — раз охапку сухих. Грейся! Свет электрический? Да он и у нас почти в каждой деревне есть. Газ? Нет, каша, ежели в русской печке, или щи куда вкусней, чем на этом газе. А его жена Татьяна говорит: белья высушить негде. А ведь двое ребятишек. С работы прибежит — и вот в ночь запустит стиральную машину. Гудит она, гудит... Потом тряпки по всей комнате развесит.

— Это — временное неудобство, — уверенно сказал Санька. — И квартиру им дадут потом побольше.

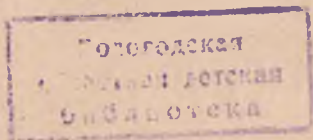
— Верно, обещали. Да не в этом дело. Теснота — вот главное! На улицу выйдешь — машины, машины, люди густо идут. И на улице тесно. А тут у нас простор-то какой! — он повел рукой в сторону озер. — Тишина! Хорошо! А дом у меня тоже просторный, воздух вольный. Не-е-т! Я здешний житель.

— Зато в городе культура! — не сдавался Санька.

— Культура, это может быть. Но кино и у нас есть. И телевизоры чуть не у каждого. Книги? Иди в нашу библиотеку...

— Ты мне чаю оставь, — попросил Санька, приподнимаясь.

— Не оставляю. Мне после работы этот котелок как раз в меру. А ты сходи за водой, кипяти, если надо.



Налил кружку и остатки кипятка выплеснул на траву.

Санька огорченно вздохнул и опять улегся. Кузнецов сказал:

— Ну, я отдохнул. Налажу спиннинг, постегаю. Может, щуренка вытяну.

— Вон тоже рыболов какой-то плывет, — заметил Филиппов. — Лодка вроде дяди Васи Пастухова, нос малость обгоревший, а рыболова не знаю. Приезжий, наверно, городской. — И вдруг зычно проговорил:

— Рыбак! Давай к огню, на компанию!

— Голос у тебя — труба! — похвалил Кузнецов, разбирая спиннинг.

— В пастухи гожусь, — согласился Филиппов. — Подъезжает.

Лодка черкнула днищем по песку. Молодой человек в стареньком коричневом костюме, выскочив на берег, подтянул ее повыше, поднялся к костру:

— Мир беседе! — по-старинному приветствовал он отдыхающих.

— Милости просим, — за всех ответил Кузнецов. — Как рыба? Удишь?

— Сегодня кружками подзанился. Десяток с утра запустил.

— Ну и как?

— Есть малость. Штуки две килограмма по два, да три так по килограмму.

— Откуда сам? — осведомился Филиппов.

— С Сухоедова. Лисицын.

— Это Петра Иваныча сын? — спросил Кузнецов. — Который?

— Самый младший. Юрий. А что?

— Просто узнать интересно. По костюму думали — городской человек.

— Вроде того. На четвертом курсе учусь.

— На кого же?

— На ихтиолога. — И пояснил: — По разведению рыбы и вообще по рыбному хозяйству.

— Зачем рыбу разводить, если она сама плодится? — удивился Санька.

Студент укоризненно посмотрел на него:

— Затем, что рыбу мы ловим, а о восстановлении ее не думаем. А рыбы нам с каждым годом все больше требуется. Население растет...

— Хватит на наш век.

Студент промолчал. За него вступился Кузнецов:

— Что ты за человек, Санька! Потребитель какой-то. Какую же рыбу разводить думаешь, Юра?

— Смотря по местности и по водоему. Об этом говорить можно много.

— А я карася уважаю, — забасил Филиппов. — Никто его не уважает, а я уважаю.

— На сковородке? — иронически спросил Санька.

— На сковородке само собой. Нет, братцы, подумайте только. И та рыба хороша и эта. А карась? Да он до трех килограммов вырастает и где? В такой ямине с водой, где, кроме него, никакая рыба водиться не будет. А он живет и не тужит. Зря мы карасем пренебрегаем.

— Правильно, — поддержал его студент. — В первую очередь надо о своей рыбе подумать, которая к нашим водоемам и климату привычна.

— Юра, ты скажи, как это тебя в ихтиологический занесло? — спросил Кузнецов. — Молодые люди все больше как-то на инженеров, на техников метят, чтобы с машинами возиться, а ты вот насчет рыбы. Сам придумал?

— Сам. Удить я еще мальчишкой заразился, с речки или с озера было меня не прогнать. Ну, по-мальчишески хотелось и много поймать и такой, какую другим поймать не удастся. Принесу, бывало, пескарей или окунишек и давай их потрошить, разглядывать, а чем они питаются, на что их ловить? Дальше да больше интереса прибывать стало. Учительница биологии у нас была старушка Лидия Константиновна. Хорошая учительница, любила свой предмет. И добрая. Я и насмелился у нее попросить, нет ли чего у ней в книгах о рыбе. С того и пошел мой интерес. Книжки у нее прекрасные были. Потом и сам их отыскивать начал. А кончил среднюю — больше никуда мечты не было, как в ихтиологический. Интересно! И на Колыме на практике побы-

вал, и на Дальнем Востоке, и в Баренцевом море... А что если нам одну мою щуку в уху превратить, а? Эх, жаль, котелок маловат.

— Некогда, — в один голос отозвались Филиппов и Кузнецов. — День к вечеру побежал.

Но Санька на этот раз не поленился, сбегал к лодке, принес оттуда мешок, в котором еще шевелились щуки, вывалил их на траву. Все полюбовались уловом.

— Ну, спасибо на беседе, пойду к своим дровишкам, — сказал Филиппов, поднимаясь.

Встал и Кузнецов. Только Санька опять улегся, задумался.

— Поедемте со мной, — предложил Юрий Кузнецову. — С лодки блеснить удобнее, чем с берега. Да и берега здесь топкие.

Кузнецов согласился. Юрий стал укладывать свой улов в мешок.

— В семье такому улову обрадуются, — сказал Кузнецов. — Сразу не употребишь. Лишнее высушить придется.

— К моей рыбке дома привыкли, — ответил Юрий. — А это я в город тете отвезу. Через три дня занятия в институте начинаются, я и просил по телефону тетю, чтобы она мне билет на поезд купила. Так она и сделала. Вот ей и везу подарок. Для нее щука — наилучшая рыба. А я не люблю.

Лодка пересекла Круглое озеро, завилыла узкой протокой, над которой свешивались деревья. Желтые листья, словно золотые лодочки, медленно плыли куда-то. Юрий работал веслом по-рыбацки, беззвучно. Плеснулась какая-то рыба у мыска, золотые лодочки закачались, зашевелились, но скоро успокоились. Да и то — свое ими сделано, теперь можно плыть куда угодно.

За поворотом, за кустами заголубело Синенькое озеро, особенно прекрасное в рамке лесов, позолоченных осенью.

— Отдохни, Юра, — сказал Кузнецов и встал, приготавливая удилице к забросу. Блесна, жужжа, взвилась в воздух.

Т ОРОПИЛИСЬ мы так, что на последних десяти километрах ни разу не остановились на перекур. И торопились не без оснований. Приди не вовремя к речному перевозу — не скоро на тот берег попадешь. Бывало этак!

И все-таки опоздали. Мой спутник Егор Ильич от огорчения крякнул, совсем как матерый селезень, одернул шапку на затылок и сказал с упреком:

— Надо бы пораньше нам из Крюкова выходить. А все ты! «Успеем, дойдем!» Вот и успели!

Я промолчал. По правде сказать, это Егор Ильич малость засиделся в сельповской чайной без крепких напитков. Но спорить со стариком мне не хотелось. Устал. Да, кроме того, спорь не спорь, а паром и лодка на той стороне. Был бы перевозчик там, у соломенного шалаша, курился бы костерчик. Но в ночной темноте огонька не было видно, только далеко мерцали звездной россыпью окна заречного села.

На всякий случай покричали поодиночке и враз: «Перево-о-о-з!»», но спугнули только стайку уток, придремавших в прибрежных тростниках.

— Так и есть, ушел ужинать, толстоносый! — вздохнул Егор Ильич. — Теперь просидит у домашних щей часа два не меньше. Давай-ка огонек распалим, веселее будет сидеть, теплее. Вроде дождичек моросить начинает. Осень!

Как и всегда, когда ночью разводишь костер и пламя набирает силу, ночь кажется еще темней и глуше. Мы молчали.

Вскоре, заляпанный грязью, подкатил к нашему становищу грузовик. Шофер подошел, осведомился:

— Давно загораете? Перевозчика-то кричали?

— Кричать надоело, — буркнул Егор Ильич. — Теперь твоя очередь, чую — голос у тебя шаляпинский.

Когда шофер, покричав, убедился, что перевозчика на том берегу нет, и присел к огню покурить, Егор Ильич сказал:

— Теперь нам тут от скуки только песни петь. Ежели сегодня в селе кино в клубе, то Федьку-перевозчика до полночи не жди. Оба сеанса просидит. Тьфу! И зачем только его перевозчиком назначили? Парень здоровенный, на другом деле пригодился бы. Вот Вася хромой до этого перевозом ведал, тот всегда на своем месте был...

— Болеет Вася, — сообщил шофер. — Давно, с весны. А Федьку что винить? Простоват, — шофер крутнул пальцем у лба. — Тут работа по его способностям.

— Вот и сидим из-за его способностей, — озлился Егор Ильич и стукнул палкой па горящим поленьям. Искры красной мошкаррой взвились в черное небо.

— Взялся бы сам за перевозный промысел. Твое дело стариковское.

— Не тебе указывать! Я всегда при деле...

Спор потух не разгоревшись. Да и не хотелось спорить: моросило и моросило с черного неба, потрескивали дровишки в костре, и вообще лучше было молчать, греть руки над огнем.

— Подвода какая-то едет, — заметил, позевывая, Егор Ильич. — Все веселее будет в компании.

Мы прислушались. Верно, едет, погромыживают кованые колеса по булыжникам большака, что-то позванивает, побрякивает. Густой женский голос то и дело понукает лошадь:

— Но-о-о-о, Чалый, шагай веселей, не жди кнута, но-о-о, родимый! Да ты что, окаянный, задремал никак? Вот я тебя, чадушко, кнутом вдоль спины!

— Крутилиха едет. Анисья Петровна, — определил шофер. — С ней скучно не бывает. Не дремли, дед. Не время!

— Что за Крутилиха? — спросил я.

— Телятница наша. Ей бы конюхом быть — женщина могучая. Ишь, голос-то у нее, как паровой гудок!

— Это верно, — охотно согласился Егор Ильич. — Баба дельная!

Еще немного — и голова чалого мерина появилась в свете костра. С телеги грузновато спустилась пожилая широкоплечая женщина в синей стеганой

фуфайке, резиновых сапогах, в толстенном платке. Встала перед огнем, подбоченилась — краса-баба! Смолоду, верно, очень хороша была она, но теперь уже глубоки морщины у глаз и прядь седых волос лезет из-под платка.

— Мир на стану! — приветствовала она нашу компанию. — Тепло вам и не дует. Чего по-цыгански расположились?

— Присаживайся, — радушно предложил Егор Ильич, подкатывая к ногам женщины березовый чурбачок. — Будем вместе горе горевать, Федьку-перевозчика ждать.

— Понятно! А ты, Егор, никак в чайной сидел?

— За свои деньги...

— Крепкие там чай, знаю. На мои бы деньги ты выпил! Значит, домой не торопишься? Понятно! Как еще тебя старуха встретит. Да вы кричали? Может, Федька спит в шалаше.

— Старались, да что толку? Наверно, Федька в кино упорол.

— Перево-о-оз! — дала голос женщина. С той стороны никто не ответил.

— Не нутжайся, Аписья Петровна, — теперь шофер подсунил ей под ноги обломок доски. — Отдохни. Вот тебе министерское кресло!

— Некогда отдыхать. Напарница у меня молодая, незаботливая еще. Как там у нее — тревожусь. Тут рассиживаться только вам... Перево-о-оз!

И ее окрик потонул в черной сырости и тишине осенней ночи. Женщина постояла, прислушиваясь, потом подошла к мерину, разнуздала его, ослабила чересседельник, бросила под ноги лошади охапку сена и раздумчиво:

— Что ж теперь делать, а? Мне тут дежурить не с руки. Еще затемно утром уехала, а теперь, гляди-ка, ночь!

— Куда ездила, Петровна? — спросил Егор Ильич.

— Известно куда — в Крюково, — рассеянно отвечала женщина, все еще вглядываясь в темень над рекой. — За ведрами ездила, ну и еще кое за чем для телятишек.

— Что же другого человека колхоз не послал?

— У каждого свое дело. Думала быстро обернуться, а приехала в село, там в магазине обеденный перерыв да на целых два часа. Ну и припоздала. Ах ты, Федька, Федька-киношник! И тут не повезло. Егор, ты присмотри за мерином, а я берегом пройду.

— За мерином пригляжу, не беспокойся. А ты куда нацелилась?

— Пройдусь, говорю, берегом, — она решительно зашагала к кустам.

Мы помолчали, прислушиваясь, как трещат сухие ветки под тяжелыми сапогами Анисьи. Потом все стихло. Костерчик почти прогорел, тоненько пищала головешка, из нее била струйка дыма и пара. Но и она смолкла. Наступила такая тишина, что было слышно, как высоко над лесом со слабым щебетом и пискom пролетают стайки птичьей мелкоты на юг.

— Крутилиха — это прозвище у нее или фамилия? — спросил я.

— Чего? — не понял сразу Егор Ильич. — Крутилиха? Нет, фамилия у нее Крутилина, а Крутилихой соответственно прозвали. Крутая баба, любое дело скрутит в один момент. Во время войны она председателем колхоза была, вон там, за рекой. Хорошо дело вела, с разумением. Ну и настойчива. Народ ее слушался, а уполномоченные, те боялись к ней в колхоз приезжать. Так, бывало, оборвет, что три года помнить будешь. Вот какая! А попрекнуть ее ничем нельзя: и хлеб хорошо родился, и скотина в порядке. Потом овдовела, мужа на войне убили. Трех ребятишек без него подняла. Все хорошими людьми стали...

— Это верно — любая работа у нее спорится. В телятницы сама напросилась. Телятник не достроен — она топор в руки и пошла орудовать, никакому плотнику не поддастся. Печи кладет, сапоги холодные или валеные — все может, — добавил шофер, улыбаясь.

Мы опять помолчали. Вдруг Егор Ильич повернулся к реке:

— Никак кто-то через реку переезжает? Слышь? Вон, вон опять веслами брызнул. Кто же это? Надо

бы крикнуть ему, чем сюда переезжать, перегнал бы паром на нашу сторону.

Шофер вскочил, закричал:

— Эй, кто там на лодке? Друг, перегони паром сюда! Ждем!

— Либо к нам подплывай, одолжи лодку, мы паром сюда перегоним! — тоже криком добавил Егор Ильич.

Никто не ответил. Шлепанье весла, какое-то неровное, удалялось вниз по реке, потом замерло, и наконец что-то шумно заплескалось у того берега. И после этого — прежняя тишина.

— Чудеса! — покрутил головой Егор Ильич.

— Эге! Дед, слышишь? Перевозчик пришел! Слышишь?

Действительно, мы услышали, как с легким стуком на палубу парома упали отвязанные чалки, потом заскрипели блоки, по которым тянулся канат.

— Пойду мотор заведу, машину прогрее, — сказал шофер и заторопился к своему грузовику.

Егор Ильич, побряхтев, недовольно поднялся, зауздал мерина, подтянул чересседельник.

— И куда эта Крутилиха скрылась? — сказал он. — Вот-вот паром подойдет, а она где-то по берегу бродит. Крикнуть ей надо. — И приложив ладони ко рту, покричал в темноту, мол, ворочай, Петровна!

Я подбросил оставшийся валежник на огонь, чтобы лучше был виден берег и приближающийся паром. Вот и он, тупоносый, черный, медленно подплыл к мосткам, лениво ткнулся в них. С парома сошла Крутилиха, закрепила чалки и поднялась к нам:

— Закатывай машину, водитель, — сказала она шоферу. — Потом я подводу заведу. А пока переобуться надо.

Она присела перед костром, скинула сапог, из него хлынула вода. Отжав портянки и натянув сапог на ногу, Анисья так же неторопливо сняла сапог и с другой ноги.

— Как же, Петровна, на том берегу оказалась? — любопытствовал Егор Ильич. — А мы думали, кто паром сюда гонит?

— Походила по этому берегу, вижу — плотик махонький, наверно, у ребятишек сооружен, брошен в водяной траве. Ну, примерилась на него. Ничего, держит, только лишний раз не кашляни. Добыла колышек взамен весла и погреблась на тот берег. Только малость промахнулась. До берега доплыла, стала с плотика соскакивать, а он, окаянный, и перевернулся. Выше колен в воду врюхалась, в сапоги зачерпнула.

— А ежели посреди реки опрокинулась бы? Плавать-то умеешь ли?

— Нет. Да я бы за плотик держалась, ну заорала бы, неужто вы, мужики, мне бы не помогли? Да и не думала я об этом. Ну вот, переобулась. Теперь и до дома недалеко, там в сухое переоденусь. Ну, Чалый, довольно дремать! Заждались нас с тобой. Как-то там напарница моя? Но-о-о, родимый!

Заскрипели блоки, паром пополз в сырую темень...

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

ЧИСТИЛИ хвост. Жители селений на берегах сплавных рек хорошо знают, что это такое... А это вот что значит: весной бревна в сплав по реке пустят, и плывут они сначала бойко — весенняя вода всегда торопится. Потом пойдет паводок на убыль, и бревна с каждым днем «обсыхать» начинают, часть их остается на берегах. Затянут сплав — многоныко обсохших бревен будет на берегу. Очень это нехорошо. Вот сплавщики и торопятся, пробивают заломы на перекатах, разбирают «косы» на отмелях, а под конец и за «хвост» сплава возьмутся. По тому и другому берегу с баграми идут, скатывают в реку обсохшие бревна, а за ними у каждого берега на «кобылках», небольших плотках, тоже люди с баграми. Между кобылок — кошель, цепь из бревен поперек реки, чтобы она захватывала лес, столкнутый с берегов, не давала ему приткнуться к мелкому месту и опять обсохнуть.

Работа бойкая, особенно если вода быстро на убыль идет. Часа терять нельзя... Сплавные конторы своими рабочими иной раз обойтись не могут, у колхозов просят — подошлите к нам, на реку, денька на три своих людей. И колхозники от такой работы не прочь: давняя привычка к сплаву у поречан.

На этот раз колхоз двадцать два человека сплавконторе предоставил. На три дня.

Конторские рады, говорят:

— Тогда мы своих рабочих вниз к Старухиным камням уведем, там залом капитальный, надо его поскорее разобрать. А ваши колхозники с хвостом сами справятся, их этому делу учить не надо.

Нашим это лестно:

— Конечно, справимся, не первый снег на голову. Да разве мы на таких сплавах работали? Вот было в двадцать девятом в Карелии...

Багры на плечо, топоры за пояс — и на реку. И тут промеж мужчин и женщин маленькая война получилась. На словах, понятно. Старшим в артель колхоз назначил Ивана Клюквина. Тот бороду расправил, кашлянул и командует:

— Перво-наперво разобьемся на две группы — одна по правому берегу пойдет, другая по левому.

— Правильно. Как же иначе?

Опять кашлянул басом и опять порядок настраивает:

— Сколько нас всего? Двадцать два? Так! Двенадцать мужчин, десять женщин. Значит, по шесть мужчин и по пять женщин на сторону. Не больно оно, конечно, ладно, маловато мужиков, а женщины... они багры в руках, слоено ухваты, держат. Да тут уж ничего не поделаешь.

Паня Федорова выскакивает:

— Это что такое? Женщин позорить? Эх ты, моховая борода. Да ты из каких старых годов явился? Что, мы, женщины, мужскую работу не рабатывали? А?

— Тише, Парасковья, тише! Слушайся меня! Не ершись!

— Нет, перья распуцу! Ишь ты — сказал! Женщины, давайте своей компанией работать будем. Ни

одного мужика на свой берег не допустим даже для запаха! Пусть нас меньше, чем их, а не отстанем!

— Парасковья, Федорова! — кричит старшой. — Уймись, помни дисциплину!

— Мы-то ее помним, посмотрим, какая на вашем берегу дисциплина будет! Пошли, женщины!

И все женщины за ней и тоже не без крику на тот берег, на левый, переправились. Правда, на кобылки мужчины встали: все-таки их на два человека больше, чем женщин.

Застучали баграми. Пока все наравне идет — то на одном берегу вперед забегут, то на другом. Берега-то разные: где покруче, там и обсохших бревен мало, где поотложее — побольше, значит, и возни с ними немало. Иногда такое накисшее толстенное лежит бревнище, что и вдесятером его едва-едва из грязи выкатаешь и до реки доставишь.

Этак с час, с полтора потрудились — Клюквин на всю реку голос подал:

— Переку-у-р!

Мужчины багры в сторону, взялись за табак. И за разговоры. Женщины багры тоже в сторону. У них только разговоры. Мужчины по одной выкурили и опять за кисеты либо за папиросы. А женщины, поговорив, за дело взялись. Тюк да тюк баграми. Для веселья и дружного разворота Паня частушку проголосила, вторую, и весь женский берег ей помогать стал. А частушек у женщин, известно, у каждой по два мешка да еще с довеском.

Далеко по своему берегу от мужиков ушли. Не слышно клюквинской команды. Паня за него приказы отдает. Глянула на солнышко:

— Обеденный перерыв, подруги!

Закусили, отдохнули и только за багры взялись — видят: по тому берегу мужская компания ползет. Клюквин кричит:

— Бабы, обеденный перерыв!

— Бабами сваи забивают, а мы женщины, кудельная ты борода! — это Паня ему в ответ. — Обедайте, коли проголодались, а мы уже поели и вперед пошли.

— Парасковья, не дури! Наравне работать надо!

— Ахал бы дядя, на себя глядя! Коли наравне, так ты со своими по нам и равняйся! Не отставай!

С тем и разошлись. К вечеру мужчины догнали-таки женщин. На левом берегу такая болотинка попалась низкая, что при паводке ее всю бревнами уложило. Ну и пришлось повозиться до седьмого пота.

— Ну что, хвастуны? — кричат с правого берега. — Лучше бы носа не задирали.

На этот раз пришлось женщинам промолчать. Да и устали, не до переклички было.

За день прошли хвостовики от своей деревни по реке километров восемь. Решили домой ночевать не ходить, а поспать часок у костра да пораньше опять на багры взяться. Ночь-то белая, работай, не ленись. И женщины в деревню не вернулись:

— И мы у костра подремлем, — сказала Паня, — комаров не бойтесь.

Да и то сказать — пока до деревни идешь, и спать некогда, солнышко поднимется. И правление колхоза женщин на реку подобрало удачно: либо бездетных, либо девушек побойчей. Значит, можно и у костерка поспать без особых забот.

На тот берег к мужчинам за спичками Паня в челне съездила. И там молчат, уломались-таки: бревна ворочать не горох воровать.

Оно хоть и говорится, что прекрасно у костерка ночь проводить, да не добавляется, а в какое время? Только бы не в комариное. Однако и тут кое-как приспособиться можно. А при нынешней науке и того больше. Вскипятили женщины артельный чайник, поели, начали зевать, а комары так и жгут, так и жгут. Паня достает из своей сумки бутылочку:

— Вот у меня снадобье против комаров. Сегодня у мастера из сплавной добыла пузырек ди-метил-фталата. Уф, вспотела, пока выговорила! И ватки у меня есть. Только, чтобы в глаза не попало, а то щипать будет.

Намазали этой жидкостью лица, шеи, руки — и спать. Пищат комары, а не кусают. Кто-то совсем сонным голосом:

— Вот это я понимаю — химия! Как в сказке. Будто в кругу от комаров зачурались.

Часа три прошло, выдохся диметилфталат, комары обрадовались. Зачесались, заохали наши бурлачки, а Паня посмеивается:

— Хорошие будильники летают! Не проспишь! Ну, давайте для согрева еще чайку выпьем и за работу. А мужики-то на том берегу, слышите, разговаривают. Комары их допекли. А все Клюквин. И ему мастер ди-ме... тьфу, не выговорить спросонья, давал, этого... от комаров, а он погордился, мы, мол, мужчины, и не такое видывали.

— Паня, да полежим еще немного. Вон роса какая густая, измокнем, по траве бродивши.

— Не сахарные, не растаем. Лучше днем, когда ветерок заиграет, лишний часик отдохнем.

И второй день прошел. Без особого спора — то один берег впереди, то другой. К полудню на моторке сверху из конторской столовой горячего супу привезли, каши, киселя клюквенного. По жаркой поре этому киселю хоть кланяйся — хорош!

Опять у костра подремали ночью. Мало пришлось спать и плохо. Снадобье против комаров у Пани кончилось. И на правом берегу у мужчин громкие разговоры были, даже кто-то песню затянул. Паня прислушалась:

— Сестрицы! Наши-то компаньоны водочки хлебнули! Истинная правда! Это они кого-то в село за водкой посылали, в Кузово! И не лень за такой дрянью туда и обратно двенадцать километров пробежаться. Ладн-о-о-о! Учтем!

Только туман над рекой загустел, только дергачи в кустах раскрипелись, Паня подружек подняла:

— Нажмем, сестрицы! Пока на том берегу вчерашнее веселье просыпать будут, мы до Старухиных камней дойдем. Там и конец нашей работе!

— А далеко ли до них берегом?

— Что-то около десяти километров. Я ведь и в прошлом году здесь на хвосте работала, знаю...

Как раз к полудню свой пай закончили, вышли к Старухиным камням. Ниже их — запанской пыж. Конец работе!

Мастер женщин похвалил:

— Не ожидал вас раньше полуночи, работницы. А мужчины где?

— Тем берегом плетутся. Отстали. Отмечай, что мы наряд выполнили, потом на большую дорогу выйдем — и домой. Спать, отдыхать!

Вот и все. Сплавная контора колхозной бригаде за хорошую работу премию выдала. Женщинам.

ПЛАКСУН

МЫ, ОХОТНИКИ, любим такую погоду, когда осенний рассвет приходит медленно, словно нехотя, и не поймешь, в каком же краю неба прячется солнце, такая однообразно серая пелена лежит над лесами и полями. И на земле уже не то, что было какой-нибудь месяц назад. Пожухла, побурела трава, ярко-зелены, бодры только озими. Чернолесье стало, как ему и подобает, чернолесьем — давно уже ободрал ветер листву с осин и берез, и только разве вдоль дорог серая ольха еще в мутно-зеленой, едва живой листве.

Лишь к полудню дрогнет задремавший воздух, и начнет посвистывать в кустарниках ветер-плаксун — влажное дыхание далекой Балтики.

Тому, кто не знает, не любит природы, ветер-плаксун этот невесел, в тоску вгоняет. Да и как не витосковать, если дремлет осенним сном земля, неделями не видно солнца, деревенские дома от дождя стали темными, а на улицах грязь, хоть на лодке в тот край села плыви...

Но деревенскому человеку плаксун не в скуку. Урожай убран, корма скотине заготовлены, картофель не выкопан разве только у ленивого. Спадает трудовое напряжение, отдыхают руки, и осенняя работа ведется неторопливо, с разговором:

— Хороша нонче осень выстояла! Тепло, и дожди не так чтобы много выпало. Убрался народ на полях куда с добром.

— Это, друг, верно! Теперь и морозцу малость неплохо бы и снежок бы не помешал — дороги лужны.

— Еще надоедят и морозы и снега, не торопись! С нетерпением мы, охотники, ожидаем выходного дня, тревожимся: не сломало бы погоду, не повернул бы ветер на север, не хлестнул бы ледяными дождями, мокрым снегом. Но устойчив ветер-плаксун, и день приходит таким, каким нам мечталось. Значит, вставай до света, обувайся получше, перекидывай за плечо ружье — и в лес. Причем обязательно с хорошим товарищем.

Есть у меня такой неизменный друг — Илья Петрович. Он молчалив на людях и еще молчаливее в лесу, круглое лицо его в рыжеватой бородке, как обычно, бесстрастно. Но каждый вечер заходит он ко мне покурить, ведет неторопливый разговор о том, о сем и вдруг, будто невзначай, роняет:

— Неплохо бы в Симонцовские пустоши сходить. Года два мы туда не забредали. Должно прибыть там зайчишек...

И я соглашаюсь. Да, да, в самом деле, надо сходить в эти пустоши. Хороши там еловые перелесочки, полянки среди них, и обязательно на каждой полянке — стог сена. А за этими пустошами начинается такой лес, что заходить в него лучше всего, имея запас хлеба на неделю и компас.

За охотничьими забавами не заметишь, как промелькнет короткий осенний день. Наплывают тихие сумерки, и мы торопимся выбраться из леса в поля, поближе к деревням. Кажется, и знакомые места, а запутались малость, и, когда разобрались, оказалось, что вышли в девяти километрах от своего села.

И как только выбрались на дорогу, как только увидели огоньки в избах, сразу почувствовали, как мы устали, как ноют, горят в тяжелых сапогах натруженные ноги, какой тяжелой стала охотничья котомка с добычей. Собаки и те набегались, плетутся рядом с нами, мокрые, похудевшие, но довольные...

Илья Петрович закуривает и освещает робким огоньком спички свои часы:

— Тьфу! Пятый час уже! Летом бы в эту пору... Он не договаривает, сердито перекидывает ружье на другое плечо и снова начинает шлепать

выпавшими по дорожным лужам. Потом оборачивается:

— Слышь? Чего я надумал. Посидим в деревне до семи часов. В семь колхозный грузовик с приставкой обратно побежит, нас прихватит. И с собаками...

И не соглашаюсь, хотя знаю — Петровича не переспоришь:

— Шли бы да шли. Подумаешь — девять километров, два часа ходу не торопясь.

Илья Петрович не отвечает. И я не настаиваю на своем. Конечно, неплохо отдохнуть в тепле, а потом в кузов грузовика забраться...

Входим в деревню, и мой спутник сворачивает к большому, в два оконца, избушке. Живет в ней вечнодушный пастух Порфирий Иванович, в просторечии Пиря-пастырь. Знаю я его, седенького, малость прищипанного, широкого в плечах старика с постоянной простодушной улыбкой на корявом и буром от сажи лице. Встречал его не раз летом у колхозного стада, когда приходилось бывать в этих местах.

В избе только на кухне горит скудная электролампочка. В тусклом ее свете у печи возится с ведрами и чугунами рослая старуха. Крепко пахнет распаренной картошкой и капустой: — хозяйка готовит пойло скотине.

— Здорово, Варвара Яковлевна, — говорит Илья Петрович.

Старуха оглянулась не разгибаясь:

— Здравствуй и ты. Никак, Илья Петрович? Погоди малость, я в горнице свет включу. С охоты, что ли?

— С охоты. А старик-то твой где? Или у соседей сидит?

— Лежит мой старик. В могиле. Вчера только схоронили.

Илья Петрович помолчал. Потом:

— А я и не слышал. Что же с ним приключилось?

— Вот — приключилось. Значит, пора пришла. Ну, посидите тут, а я к корове схожу.

— Нет уж, чего нам тут сидеть, коли старика нет, легкое ему лежанье. Мы пойдём...

— Как хотите, — равнодушно ответила старуха, плечом открывая низенькую дверь, руки у нее были заняты ведрами.

Мы постояли на улице. Илья Петрович посвистывал, раздумывая.

— Пойдем у Амосова посидим, — наконец сказал он.

Мы попали к ужину. Амосов, человек еще не старый, с висячими черными усиками, сидел за столом, крошил двумя ножами мясо в блюдо. Две девочки, его дочки, сидевшие рядом с ним, с любопытством уставились на незнакомых с ружьями. Жена Амосова накладывала в самовар раскаленные угли. И так тепло, чисто, уютно было в домике, что я почему-то пожалел угрюмую старуху там, в избе пастуха. Скучно теперь ей одной...

— А, полеснички! — весело приветствовал нас Амосов и стукнул ножом о блюдо. — Наливай нам, Аннушка, да побольше — гости пришли. Ты, Илья Петрович, наверно, есть хочешь?

— Как ты об этом догадался? — будто бы удивился Илья Петрович, ставя ружье в угол. Амосов расхохотался:

— Тут и догадки не надо. Ведь, наверно, еще до зари в лес уплелись? Правда? Садитесь, садитесь за стол, товарищи, чего у порога топчетесь. День скоротали, по лесам и болотам долгонько плутали, ноги убили, а есть зайцы-то в котомочках?

— Малость есть, — ответил Илья Петрович, садясь за стол. — А ты как, с ружьишком нынче балуешься?

— Особо-то некогда, в колхозе работы еще много. А вчера одну зверюшку подшиб... Работайте ложками по-настоящему, что ж вы?

— Зашли мы к Пире-пастырю, хотели там посидеть, а Варвара нам говорит — помер Пиря. С чего это он? — спросил Илья Петрович.

— Помер, помер, — подтвердил Амосов. — Помер вековечный пастух. Не знал Порфирий Иванович другой работы, как скотинку пасти; лет, пожалуй, сорок все в нашей деревне пас, на сторону не уходил. Хороший пастух был, знающий, серьезный. Очень тем гордился, что ни одной, даже самой за-

худалой, скотинки у него никогда не терялось. От этой гордости и помер в одночасье.

— Как это так — от гордости?

— Да вот так. Как раз накануне у него беда в стаде случилась: медведь хорошую корову задрал. Всегда Порфирий на пастбище с ружьем выходил, а тут как на зло дома его оставил. Однако не сробел старик, из костра головню вытащил, на медведя бросился да так завопил, что отскочил зверь от коровы. Не то огня, не то крику испугался, а может, и то, что неподалеку наши колхозники были, мост ремонтировали. Услыхали всю эту заварушку и туда с топорами... Убежал зверь... Ну вот, пригнал Порфирий стадо домой, идет деревней — шатается и, кого ни встретит, сам себя казнит, ругает: «Да как же это я? Да как это мне помогло ружье дома оставить? Порядок у меня был. Выгоню стадо на лесную поляну и первым делом холостым выпалю, чтобы звери слышали, понимали — есть у пастуха ружье. И днем еще пальну раз-другой. А тут? Глупая моя голова, беззаботная, что люди про меня скажут?» Вот как убивался. Люди его уговаривают, мол, ты сорок лет пас и без урону, а один случай колхозники тебе в вину не поставят. Не расстраивайся! Нет, не помогло! Пришел домой, есть-пить не стал, лег на печку, повздыхал — и готов! Вот до чего его обида взяла! Сердце не вытерпело!

Когда, поужинав, мы пили чай, скрипнула дверь, и в дом вошла Варвара Яковлевна, коротко поклонилась всем сразу, будто носом клюнула.

— Присядь, присядь, бабушка Варвара, — сказал Амосов. — К ужину опоздала, так давай к чаю.

— Свой пила, — сдержанно ответила старуха, — спасибо! А посидеть — посижу, мне не к спеху, обожду.

— Дело хозяйское! — согласился Амосов. — Вот стакан допью и пойду в амбар, отрублю тебе, как и обещано, свежей медвежатинки.

— Откуда у тебя медвежатинка? — удивился Илья Петрович.

— Из леса, известно откуда! Стукнул я вчера того бурого, что деда Порфирия до смерти обидел.

— Что ж ты нас о зайчишках расспрашиваешь, а сам медведем не похвалился, молчал?

— Чем хвалиться-то? Не первый он у меня на мушку взят! А как я этого добыл, рассказать можно, коли ночевать останетесь...

— Ночевать не выходит! — вздохнул Илья Петрович. — Скоро наш грузовик подойдет. Ну, спасибо за хлеб-соль!

Мы заторопились. Проходя двором, все же не утерпели, заглянули в амбарушку, где лежала еще не разделанная медвежья туша. Около нее с топором в руках возился Амосов. Бабка Варвара светила ему фонарем с закопченным стеклом. Лицо ее по-прежнему было угрюмым, равнодушным.

ВАСИНО ОЗЕРО

РЯБЧИК попался мне упрямый — либо меня успех заметить, либо моя пикулька не чисто высквистывала, но ушерся, шельмец, не подлетает на выстрел. Откликается этак словно нехотя, задумчиво, иногда прогремит на коротком перелете, но все либо вправо, либо влево, а не на меня. И мне даже скучновато стало.

Сидел я очень уютно и скрытно под широченными еловыми лапами, нависшими до земли шатром, и в промежуток между этими лапами видел родное и любимое залесье: осины в лимонно-желтой листве, березки в листве попестрее, кружева спелых ягод рябины над берегом ручья, спокойное чистейшей синевы осеннее небо. Да, да! Все родное, знакомое. И даже рябчика убивать не захотелось. Другого найду, поглупее...

Хотел было уже вылезать из-под елового шатра, но тут надо мной со свистящим шумом пролетел черный глухарь и словно вцепился в крону кривобокой старухи-сосны за ручьем.

Подкрадываться к нему не было смысла, птица осторожная, чуткая. «Ладно, полюбуюсь им минут-

ку-другую и пойду», — решил я. И вдруг гроыхнул выстрел, там, в кустах, за ручьем, всплыло облачко порохового дыма, а глухарь, неровно хлопая сильными крыльями, повалился с сосны и упал шагах в пятнадцати от меня.

Интересно, кто же это глухаря сшиб? Обожду, узнаю.

Если бы не шуршанье палой листвы, охотник подошел бы ко мне беззвучно. Над глухарем он остановился и долго его рассматривал.

Был этот охотник человеком рослым, но сутулым, костлявым, с лицом болезненно-бледным, поросшим короткой бородкой. Но даже и эта борода не скрывала того, что он еще молод.

Я молчал под своей елью, молчал и охотник. Потом он неторопливо сменил стреляный патрон, еще постоял над убитой птицей и сказал довольно громко сам себе:

— Какую ты красоту, чахоточный черт, нарушил! Эх!

Глухо откашлялся и, подняв глухаря за лапки, бережно отряхнул с его синевато-бронзового оперения на шее хвою:

— А хорош! Теперь можно и домой не торопясь.

— Ловко ты его! — подал я голос из-под ели.

Охотник не сразу повернул ко мне голову, будто и не удивился незнакомому человеку, который похвалил его.

— Случайно, парень. Не с подхода. Стоял я там, слышу рябок голос подает, другой ему откликается. Понял — охотник рябка подзывает. Думаю, не буду мешать, хотел обойти. А тут глухарь и налетел, как раз почти надо мной. Вот — выстрелил! Выходи, покурим!

Мы присели на ствол ели-валежины, но охотник от моей папиросы отказался:

— Не курю. Легкие не позволяют. Туберкулез.

Сказал он это до страшного просто и обреченно и так, что понятно было: в сочувствии и жалости он не нуждается.

Посидели молча. Вершины деревьев пылали предзакатным золотом догорающего тихого осенне-

го дня, а под деревьями было уже хмуро и тянуло холодком, запахом вянущих трав.

— В лесу ночевать будешь? — спросил я, чтобы нарушить молчание.

— Неплохо бы, да боюсь теперь. Вдруг утром не встану, что семья думать будет? А хорошо бы так вот в лесу, у костерка...

Он не договорил, но я понял, что хотелось ему сказать. И мы опять помолчали.

— Тогда надо к большой дороге выходить, — предложил я. — А уж там каждый по себе. Ты из какой деревни? Может, попутчик?

— Из Сорожной. А ты откуда? Нет, не попутчик. Мне лесом в другую сторону. Километров пять отсюда.

— Знаю, бывал. А уж не рано!

— То-то что не рано. Ну, всего приятного! Сколько рябков добыли? Шесть штук? Дело! А я сегодня просто так пошел по лесу прогуляться, больно день хорош. Всего доброго!

* * *

Вторично я встретился с ним зимой в сельской больнице, в ожидании приема у врача. Я сразу узнал этого охотника, он тоже приветливо кивнул мне, подсел ближе.

Обычно люди в больницах, томясь в ожидании приема, любят многословно и не слушая друг друга поговорить о своих болезнях. Мой новый знакомый завел разговор об охоте, о том, как и на кого я хожу в лес, что у меня за ружье, какова собака. О себе сказал коротко:

— После того раза не пришлось мне больше в лесу побывать. Погодка сломилась, а при плохой погоде дома сидеть приходится...

— Может быть, в санаторий для туберкулезных тебя можно устроить? — спросил я. — Хлопотно, конечно, но если взяться...

Он махнул рукой:

— Ни к чему это мне. У меня туберкулез не простой. Военный. Ранен я был осколком снаряда в грудь. Говорят, что все осколки вынули, а мне все

кажется — сидят еще в груди самые маленькие. Может, и нет их, а так думается. Легкие-то после ранения у меня ослабели, ну вот... Такого не выдержишь, если легкие порваны. Да еще и ранили-то меня зимой, на снегу долго лежал, пока подобрали. Простыл, должно быть...

— Это где же тебя?

— Под Ленинградом, при прорыве блокады. А я сюда пришел с другой болью. Нарыв на пальце. Надоел!

— Ты у кого остановился? — спросил я. — Заезжай ко мне ночевать. Для лошади дворик найдется. Или ты на попутной автомашине?

— Какая там машина! Нынче снега такие, что и нашу деревню уже с декабря не пробиваются. И не на лошади. На лыжах прибежал.

— Это за тридцать-то пять километров и с твоей болезнью! — удивился я.

— Ну и что ж? Колхозным лошадям сейчас работы много. Сколько сена вывезти к ферме надо, и дрова тоже требуются, а снег все валит и валит. А на лыжах что ж? Бегу не торопясь. Напрямую лесами километров на восемь ближе.

— Все-таки заходи чаю попить, отдохнуть. Вот я свой адрес и фамилию записал, возьми, ждать буду.

— На приглашеньи спасибо. Может, и приду, коли здесь не задержат.

— Василий Киселев! — просунулась в дверь медсестра с легкомысленными завитушками под строгой белой повязкой на голове.

Так я узнал его фамилию...

Но ко мне он не пришел, и я понял почему — после снегопадов, надоевших всем, к вечеру небо очистилось от туч, сверкнуло звездами, потом засияла в полную силу луна. Ясно, что Киселев не захотел терять времени и морозной ночи...

* * *

В районе этом я работал до встречи с Киселевым лет пять, да после встречи прошло еще года три. Однажды, в марте, зашел ко мне товарищ, страстный любитель блеснить окуней по льду, и

стал уговаривать меня отправиться в субботу после работы на рыбалку на Сорожье озеро, на берегу которого в деревне Сорожной жил Василий Киселев.

— Да что ты! — удивился я. — Вот и видно, что ты в нашем районе человек недавний, не знаешь, что в Сорожьем озере, хотя у него рыбное название, не только сороги и окуней, но даже и лягушек нет!

— Эх ты, знаток района! Я две недели назад там блеснил, и веришь ли — килограмма четыре окуней привез. Не скажу, что окунь очень крупный, но вполне подходящий: тянешь его на лед — душа радуется, того и гляди леска лопнет.

— Сомневаюсь! Не приснилось ли тебе? Откуда там окуням быть? Речек или даже ручья побольше в это озеро не вливается и не вытекает, так оно в брелоте и стоит под горой. А вода в нем издавна кулаками испорчена, еще до революции.

— Что ж они, кулаки эти, нарочно воду отравили? — усмехнулся недоверчиво мой приятель. — Кулак, он, конечно, кулаком и оставался, но чтобы целое озеро отравить — это что-то редкостное. А я говорю — рыба в нем есть! Сам ловил.

Мы явно не понимали друг друга. И я расказал:

— Кулаки... Впрочем, слушай с начала. До революции все крестьяне Сорожной и соседних деревень, народ бедный пахотной землицей, добывали себе необходимые горькие рубли каткой валенок. И этим кулаки верховодили. Шерсть сотнями пудов привозили, шерстобитные машины имели. Сдавали шерсть каталам, получали от них готовую продукцию, одним словом...

— Это не только с валенками в старину бывало. Но при чем тут озеро, рыба, кулацкая отравка?

— А при том, что кулаки нанимали людей промывать шерсть в этом озере. Вода в озере после многолетнего промывания шерсти стала и для рыбы, и для всякой живности непригодной. На берегу озера деревня стоит, а воду для питья и до сих пор берут из колодцев.

— Откуда берут воду, я не знаю, а что рыба в озере есть — это правда! Сам ловил, сам уху варил. Так поедешь?

Уговорил-таки меня... И вот уже поздно вечером в субботу мы оказались в Сорожной. Приятель мой еще с прошлого заезда нашел тут себе ночлег, туда мы и направились.

Еще не раздеваясь, я спросил хозяина дома, широкоплечего старика с такой бородищей, какую нынче разве только на картине увидишь, где живет Киселев и как бы мне его увидеть?

— Опоздал, товарищ, — басом пророкотал старик. — Опоздал на год с небольшим. Нет теперь Василья Константиновича. Помер! Или знакомы были?

— Вроде того, — пробормотал я и снял полушубок.

— Иван Иванович, вот я невера привез, — кричал мой приятель, тоже стягивая с себя полушубок и уже, как свой человек, присаживаясь к столу. — Вот не верит, что в Сорожьем рыба есть. Ну-ка, докажи ему!

— Доказать просто: бери летом удочки или вот теперь блесну и лови окуней. И караси там имеются. Крупнущие, как лапоть иной карась. А только и этот товарищ, — кивнул он на меня, — прав, и ты прав. Верно, не было рыбы в нашем озере много лет. Но спасибо хорошему человеку, Василью Константиновичу: это его труды — окуни и караси!

— Как так — его труды? — спросил я.

— А так! Вернулся он с фронта да все болел, болел. А сам доброе дело делал, и никто этого не замечал. Так он, видимо, решил: кулаков давным-давно и в помине нет, должны после них и воздух, и вода очиститься. Что нашему озеру впусте стоять? Вот Василий Константинович, хороший человек, с Топ-озера по веснам ведрами сюда окуневую икру носил. Окуни и прижились, выросли. Сначала рыбовод сам их поудил, а потом уж и другим сообщил. Да не долго ему пришлось своих окуней ловить. Зато какую память о себе оставил! Золотую!

Память, действительно, золотая! Только долго ли помнить его будут?

— Долго! — твердо сказал старик. — Долго! Осени наши колхозы укрупнялись. Стали мы в праздничьи планы угодий рассматривать, тут и пореши-

ли просить, чтобы Сорожье озеро Васиным озером назвать. Говорят в районе — нельзя, карту переделывать не годится, а мы на своем уперлись. Не знаю, как там на картах и чертежах, а мы уж окончательно озеро Васиным называем!

ОТШЕЛЬНИК С ВЕЛЬБЫ

ПРОЙДЕШЬ ли ты, парень, в Тимонино через Вельбу? Сомневаюсь! У нас из деревни и то не каждый тропу знает. Ну, раз так настаиваешь да наши места полюбовать хочешь — иди, дело летнее. И ночевать в лесу у костра, знаю, не боишься. А не собьешься с тропы — на речке Вельбе кордон есть. Лесник там Федоров. У него и переночуешь. Я тебе записку дам, на всякий случай. А то он чужих в лесу не уважает... Живо в сельсовет доставит, — так говорил мне председатель колхоза.

Ох, уж эти лесные тропинки! Не раз удивишься: да куда же она подевалась? Ведь была все время под ногами и вдруг исчезла. Ищи ее, не сердясь и не торопясь. Вынырнет на другом конце поляны и поведет тебя опять в лесную глухомань!

И все-таки без особых приключений я выбрался к Вельбе, а увидев на ее берегу избушку лесника, совсем обрадовался. Погода к этому времени вовсе испортилась, заморосил дождь, и ночлег под крышей был куда приятнее, чем под елкой у огонька...

Лесник, человек пожилой, обтесывал у крыльца колья. Отозвав свистом двух здоровенных собак, бросившихся с лаем на меня, он коротко ответил на мое приветствие и равнодушно продолжал свое дело. Я присел на чурку, закурил и стал, тоже по возможности равнодушной, рассматривать узкую речную долину, болотистые берега Вельбы и темный бор за нею. Но я чувствовал, что лесник молча изучает меня.

— Издалека ли и куда? — отрывисто спросил он, отбрасывая последний колышек.

Я подал ему записку председателя колхоза.

— По какому же делу сюда забрели?—спросил он, окончив чтение.

Я ответил.

Выслушав меня, лесник сказал:

— Ну что ж, пойдемте в избу. Дождь сегодня невеселый, да к утру кончится...

— Почему вы так думаете?

— Скоро закат, а ветер заигрывать начал. Сломит погоду к утру.

В избе было чисто и тепло, но сразу было видно, что лесник живет одиноко: не чувствовалось женской руки. Ни занавесок на окнах, ни половичков. Но пол был подметен и недавно вымыт, еще не успел просохнуть.

К моему удивлению, у лесника в печи оказался хороший обед, а к чаю он принес блюдо с булочками.

— Кто это вам печет, Иван Федорович? — спросил я.

— Сам кухарничаю. Жена еще с весны к ребятам уехала, под осень только вернется, поди...

— Значит, зиму вдвоем живете?..

— Раньше жили, а теперь она осень только здесь побудет, свои порядки наведет, ну, бельишко починит, ягод наберет, грибов и опять к ребятам. Скучновато ей теперь здесь жить. Пока ребятишки были, так и хозяйство держали. А теперь оно мне ни к чему. Зовут дети к себе, а я в города не хочу ехать. Живу один. Привык... Лет-то мне не так еще много, шестьдесят третий. На пенсию можно, а что я с ней буду делать? Работу, пока ноги ходят, руки гнутся, я не брошу. Я тут и родился на этом кордоне. Родитель тоже лесником был.

Он поправил огонь в лампочке-десятилинейке, прислушался к шуму дождя и леса — ветер разгулялся не на шутку — и встал:

— За водой надо сходить, пока совсем не стемнело, да дров занести. А вы ложитесь на кровать. У меня клопов нет, уснете спокойно.

— А вы где ляжете?

— У меня ночлег в сенях в пологе. Душно мне в избе.

Пока он занимался хозяйскими делами, я подробнее осмотрел лесное жильё. В переднем углу рядом с семейными фотографиями висели под стеклом в красной рамке два ордена Красного Знамени и боевые медали. «Наверно, сыновей», — подумал я. На угловом столике лежали книги: старые школьные учебники, тоже, наверно, оставшиеся от детей, томик Некрасова, «Разгром» Фадеева, толстый том сочинений известного русского лесоведа Морозова, «Маугли» Киплинга. Рядом — стопка газет.

— Половина одиннадцатого, — сказал Федоров, возвратившись. — Он наклонился над другим столиком, накрытым пестрой салфеткой, и... заговорил радиоприемник.

— Берегу питание, — объяснил лесник, присаживаясь на лавку. Придешь в село — нет его в продаже, а когда привезут, до меня продадут...

Последние новости он выслушал внимательно, не проронив ни слова. Потом выключил приемник и стал прибирать на столе.

— Ордена эти, — кивнул я на рамку, — ваши?

— Мои. Первый еще в гражданскую получен. На Южном фронте. Второй — в эту. Медали тоже.

— Возраст-то у вас такой... Как же вы на фронте оказались?

— А я добровольцем. Здоровье хорошее, а годы ни при чем. Ну, ложитесь.

Я погасил свет. Далеко где-то скрипел дергач — к ясному утру; чуть ли не под окном, в тростниках, попискивали утята.

* * *

Проснулся я не рано, умотала вчерашняя тропа. Дверь в сени была открыта, и я хорошо слышал разговор: кто-то еще навестил лесника. Разговор шел пустяковый: о том, что какой-то Сенька Тутаев украл колхозные вожжи, а потом взял в колхозе подводу и, запрягая коня у своего дома, позабылся и эти же вожжи в дело пустил.

Пришедший, видимо, только еще готовился к предстоящему разговору, а пока сыпал и сыпал словами. Лесник только гмыкал и поддакивал. Среди деревенского люда так не ведется — взять да и выпалить сразу, зачем пришел.

Но, высыпав ворох новостей, гость, наконец, добрался и до сути дела.

— На твоём бы месте, Иван Федорович, я не стал бы тут, как леший какой, в одиночестве сидеть. Да тут одному с ума сойти можно! Нет, не стал бы! Никак, озолоти меня с ног до головы! Как ты только терпишь?

— Терплю!

— Ну, ещё семья при себе была бы, хозяйство. А так — разве житьё?

— Мне и так ладно.

— Вот ты какой! Ну, чтобы к сынам уехал или к дочке... Ведь зовут, наверно?

— Зовут.

— Ну вот видишь? В городе — культура. Туда-сюда сходить можно. И в кино, и в пивную.

— Это так.

— И подработать можно. Ты же и етоляр хороший, и плотник.

— А мне и без этого денег хватает.

— Конечно, если по-твоему. Только скучно, говорю.

— При деле скучно не бывает.

— Это верно! Ну, а все-таки годы у тебя. Пенсия бы пошла. Живи на народе и радуйся, внучат качай. У одного сына надоело — катай к другому. Красота! В крайнем случае, нашёл квартирку, живи со старушкой. А денег мало — требуй с сыновей, с дочки. Они хорошо зарабатывают.

— И я не хуже их. Сыт, обут, одет, при деле. Зачем мне ихние деньги?

— Прямо ты отшельник какой-то милостивый. В старину такие бывали.

— Дураки были эти отшельники. Лодыри! Богу молились, а от людей кормились.

— Хе-хе-е! Сказанул! Нет, верно, бросил бы свою работу. Пора! Я к тебе по важному делу. Сидел дома, поразмышлял и надумал: схожу-ка к Ивану Федоровичу, побеседую.

— Ну?

— Побеседую, говорю. Что, думаю, наверно, старик давно бы с работы на пенсию ушел, к деткам бы уехал, да кто сменит его на дальнем кордо-

не? Кто в такую глухомань пойдет? Пойти, думаю, разве мне? Дело нехитрое. А у меня семьишка, коровенка, овцы, куры. Сенца бы я тут накосил, огородик разработал бы. Ишь, у тебя прежняя огоро-дина кустами зарастает.

— Ну и что?

— Вот и говорю: сменю Ивана Федоровича...

— Из кладовщиков-то тебя в колхозе поперли?

— Скажешь тоже... Сам ушел. Канительное дело, учет сложный.

— Не ври — прогнали! К себе у тебя руки гнутся. В селе было — рассказывали...

— Ей-богу, сам ушел! Мало ли чего злые люди наговорят!

— Значит, теперь мне добро сделать хочешь?

— Думаю, добро! И я бы в тишине пожил.

— Всю бы рыбу в озерах выловил? Лосей бить бы стал?

— Иван Федорович!

— Ты в моих руках сколько раз бывал? А теперь хочешь всю власть в лесу в свои лапы забрать! Чтобы вся твоя ширина и долина? Ты это и не думай.

— Зря ты это, Иван Федорович, зря!

— Не зря! Пусти тебя сюда — ты на трех коров накопишь...

— У меня одна только.

— На двух коров на сторону продашь. Знаю я таких лесничков. Вон на Вардобое Варламов весь в тебя. Хапок-мужик!

— Иван Федорович! Да зря ты на меня сердишься! Поставил бы лучше самоварчик, мы бы за столом посидели. У меня половинка для разговору припасена.

— Не добавить ли и мою поллитровку? Вон у меня в кладовке стоит, еще с зимы не выпита.

— Ой, и шутник! Да я, коли узнал бы, что в доме моем поллитровка стоит, так глазами бы ее выпил!

— А я нет. Так, значит, на мое место хочешь?

— Тебя же выручить думаю.

— И не мечтай! На днях в село пойду, прямо так и скажу в лесничестве: коли придет к вам Ма-

варочкин в лесники куда бы ни было проситься —
не принимайте... Хапок!

— Чего ты ругаешься? Я с добром, а он...

— Правда — не руганы! А я отсюда не уйду.
Пот когда унесут меня отсюда... Понятно?

— Несговорчивый ты мужик.

— Такой зародился.

— Значит, не согласен?

— Сказано!

Наступило молчание. Потом гость, видимо, под-
нялся:

— Ты, Иван Федорович, как собака на сене.
Сиди не пользуешься и другим не даешь.

— А уж это как хочешь. Уходишь? А то обожди,
у меня прохожий человек ночует. Сейчас я са-
мовар налажу, чаю попьем. Все ж таки ты дорогу
прошел.

— Какие тут чай! Кабы дело решено было,
тогда...

— Тогда бы и пол-литра на стол? Так, что ли?

— Конечно бы, так. Соглашайся!

— Дешево покупаешь — домой не носишь. От
чаяю не отказывайся. Не люблю, когда от меня че-
ловек голодным уходит.

— Это верно. Да некогда мне за чаем сидеть.
Говоришь, кто-то ночует у тебя? Кто такой? Вон
кто! Знаю! По делу? Спит еще?

— Спит. Без дела только ты ко мне пришел.

— Сердитый ты мужик. Ты про наш разговор
никому не передавай. Ладно?

— Сам проболтаешься. И так все в колхозе
знают, что у тебя лыжи наострены от настоящей
работы.

— Ах, как ты это несправедливо говоришь.
Когда я от работы бегал?

— Всегда! Вот теперь, видишь, хуторок себе
ищешь. Ну, коли чаю не хочешь, как хочешь. А мне
гостя побудить надо...

— Всего доброго. Надумаешь уходить с рабо-
ты — дай знать. Не сердись.

— Знать дам. Только не тебе...

— Тьфу...

К вечеру, когда я выполнил намеченную работу, лесник вывел меня на давно заросший травяной проселок.

— Километра три по нему пройдете — вот вам и большая дорога. А там, может, попутно автомашины найдете. Так-то скорее до райцентра доберетесь, чем обратно тропами путаться, — наставлял меня Иван Федорович.

Мы присели покурить.

— Кто это к вам приходил? — спросил я лесника.

Сам он за весь день и словом не обмолвился об утреннем госте.

— Так, один тут ловчило есть в недалеком колхозе. Ищет местечко потеплее.

— Колхоз этот я знаю. В нем хорошо живут, зажиточно.

— Те живут, которые работают. А Ленька — хапок. Какой он колхозник? Только по названию.

— Неужели ему выгоднее лесником служить?

Иван Федорович старательно втоптал окурки в землю. Ответил не сразу:

— Как сказать? Лезут у нас понче в лесники не настоящие люди. А частенько такие, как этот Ленька. Во-первых, он у людей не в приметности будет. Это — раз! Второе — зарплата у нас не так большая, но, ежели другое посчитать, больше и не полагается. Тот же Ленька в лесу на свою корову накосит да еще на продажу пудов сотню натюкает. Ну, и дрова привольные. Огород раскопает, а то еще и пшенички посеет. Дают лесникам и другую работу, кроме лесоохраны: посевы леса, прочистки, заготовки кое-какие. Тоже заработок.

Он опять замолчал, словно не решаясь высказать все до конца. Наконец заговорил медленно, будто нехотя:

— Леснику по закону полагается браконьеров преследовать. Немало их еще у нас и по дичи, и по зверю, и по рыбе. А такие, как Ленька, сами первые браконьеры. Будет ли он другим в этом перечить? Конечно, нет!

Он встал, перекинул ружье за плечи:

— Вот что я скажу, товарищ дорогой. Не таких к лесу надо допускать, как этот Ленька. Лес беречь — святое дело! Тут, как на военной службе, присягу надо давать народу. А у нас еще так водится: только бы лесников нанять, а не глядят, что это за люди. Да сплошь и рядом лезут в лесники первые колхозные лодыри, вот такие хапки, как Ленька. Нет! Нельзя так! Нельзя! Ты лесник — ты солдат! Понятно? Ну, прощай, пока!

И неторопливо пошел затравянявшимся проселком, рослый, сутулый.

ЛЕБЕДИ

ЕСТЬ люди, с которыми не о чем говорить да и слушать их скучно. Остается одно: поддакивать им из вежливости, в спор не вступать, чего уж там — осиновый пень не переспоришь.

Иду вот с таким неинтересным человеком, Николаем Ивановичем, берегом Белого озера. Иду, скучаю. Николай Иванович бубнит и бубнит что-то о том, какой он хороший материал сапожнику снес и какие хорошие сапоги получились бы, кабы сапожник не подменил товар своим, плохим. И еще говорит он о том, что промахнулся, поторопился картошку продать, взял дешево, а попридержал бы ее до весны — вдвое больше получил бы...

— Да, да, вот как? — приговариваю я, хотя хорошо знаю, что сапожник ни в чем не виноват, разве только в том, что Николаю Ивановичу во всем обманы и плутни чудятся. Знаю и то, что Николай Иванович продал только один мешок картошки, а остальную к весне бережет, когда с иного покупателя можно и деньги и рубаху за нее получить. Но Николай Иванович из тех, кто плевки в свою рожу считает росой.

— Да, да, — говорю я и втайне радуюсь тому, что идти мне с этим человеком остается еще с полчаса, а потом накрепко позабуду его комариное нытье.

А день скучен, угрюм. Вчера, в который уже раз, выпал снег, да, видно, теперь уже до весны и не сойдет. Неужели зима? Похоже на это. Тяжко легли тучи на небо, недвижные сизо-пепельные, тинет с севера острым ветерком, и пахнет он по-зимнему — снегом, стужей. Только Белое озеро мрачно чернеет за елями и не видно волны на нем — тяжелой стала его вода, остудили ее морозы и осенние ночные ветры. Еще немного — и ляжет на озеро ледяной щит от нашего берега до того, где чуть виден древний Белозерск.

И вдруг мы останавливаемся, поднимаем глаза к небу. Над нами, над черными вершинами елей, величаво пролетают шесть лебедей. Летят, изредка взмахивая крыльями, летят один за другим, будто по струне вытянуты. Кажется, не хотят и взглянуть на притихшую землю под ними, на задремавшие под снегом леса, поля, луга.

Будто посветлело кругом от белизны прекрасных птиц, и сказочными показались мне и снежные поляны, и черные ели, и засыпающее озеро, и прибрежные луга с богатырскими шлемами стогов на них.

Пролетели лебеди — и нет сказки. Опять все вокруг поскучнело.

Николай Иванович долго молча плетется за мной. Думаю — скоро ли он отстанет от меня? А он, вздохнув:

— Экая красота пролетела!

МАРКОЛЕНДА

Если хочешь понять душу леса, найди лесной ручей и направляйся берегом его вверх или вниз.

М. Пришвин

МАРКОЛЕНДА — звучное и странное название, словно занесенное ненароком в вологодскую лесную глушь из средневековой скандинавской легенды...

Со дна Новского озера то там, то здесь бьют холодные ключи. О них узнаешь только зимой, когда в мертвой толще льда увидишь круглую, словно глаз, полынью и легкий морозный пар над нею. Это струи ключа не дают сомкнуться льду, и озеро словно дышит через эту полынью и другие, что разбросаны по нему.

Лишняя вода та, что вливают в озера его ключи, ищет выхода дальше и находит его. Выход этот — ручей Марколенда. Вот он медленно вытекает из озера, расползается ржавыми мочажинами среди буро-зеленых кочек торфяного болота. Чем дальше, тем уже и мельче ручей. А потом словно сосало его болото в себя. Нет ручья! Только болото — кочки, кривые березки, чахлые сосенки, веники болиголова и терпкий пьянящий его запах.

А там, за болотом, коренной лес на многие километры: ельники, боры, березники. Идешь, идешь этим лесом — и вдруг перед тобой в ложине речка. А может быть, и не речка — просто узкое, извилистое лесное озерко с черной дремотной водой.

Как-то встретился я у такого ручья-озерка со знакомым колхозником. Шел он на дальние покосы с поручением от своего бригадира — огородить жердями стога сена. За колхозником увязался и его сынишка Петька, паренек лет десяти в синих коротких штанишках и рубашонке со следами черники на ней.

Пока мы сидели, курили да разговаривали, Петька делом занялся: вытащил из кармана волосяную леску с крючком, намотанную на щепочку, вырезал удилище, и не успели мы удивиться, как он уже закинул свою немудреную снасть в озерко.

— Петька, зря стараешься, — окликнул его отец. — В этом озерке, кроме лягушек, никакой живности нет. Ужо, придем на покосы, там в речке поудишь.

Но Петька словно и не слышал нас, помахивал головою от комаров и неотрывно следил за поплавком.

— Пускай удит, — сказал я. — В его возрасте думается, что рыба даже в колодце есть.

Но... Петька взмахнул удилищем — и черноспинный с ярко-красными плавниками окунь, мелькнув в воздухе, шлепнулся в траву у наших ног.

— Окунь! В этой-то луже? — ахнул мой знакомый.

Через час мы пошли дальше. Пришлось посидеть, посмотреть на Петькину ловлю. А теперь он рысцой спешил за нами с гордым видом, и связка окуней болталась в его руке.

Уходя, я бросил несколько сухих сучков в озеро. И они медленно-медленно поплыли вдоль него. Значит, в озерке было пусть и слабое, но течение.

— Неужели это Марколенда? — спросил я колхозника.

— Все может быть, — ответил он. — Живая вода всегда свой путь найдет.

Мой знакомец, заинтересованный таинственным течением Марколенды, решил пройтись со мною дальше. Он знал еще несколько таких же озер, узких, извилистых и длинных. Мы побывали на всех.

Да, это была Марколенда, лесной ручей, что выбегал из Новского озера, терялся и появлялся вновь. Можно было понять, что уже издавна поверх русла этого тихого ручья валились старые деревья, захламляли его, на деревьях вырастал мох, трава, и новые валежины ложились над ручьем. И вот под этой толщей гнилых деревьев, мха и травы в холодной темноте подземелья струились воды Марколенды.

Но в иных местах лес был не в силах заглушить ручей. И тут он, запруженный ниже завалами валежника, становился озерком. А всякому озерку полагается рыба.

Что взрослым людям до таких озерешек и какой-то гадательной рыбы в них? Стоит ли ставить здесь ловушки, есть ли надобность сидеть над удочками? На то есть настоящие большие озера и широкие реки.

А Петьке Марколенда интереснее больших озер и рек. Уж очень сказочно выудить красноперого окуня из черной и тихой, похожей на яму, не то

речки, не то озера. Наклонились над водой толстенные ели, и вершины их сошлись, нависли над берегами. Непролазна чаща смородинника, крапивы, таволги, осоки. И вдруг — рыба! Настоящая рыба из черного лесного провала.

Открыть тайну речки дорого и взрослому, не только Петьке...

Мы вышли на проселок, на луга, и ласковый ветер словно погладил нас бархатными ладонями по вспотевшим, в лесной паутине лицам.

— Вот оно как, — сказал мой знакомый, прощаясь со мною, и повторил то, что сказал там, у черного озера: — Живая вода всегда свой путь найдет!

НА ДАЛЬНИЙ ЗОВ

НА УТРЕННЕЙ заре старый лось выходил к озеру на водопой. Шел, не хрустнув и малым сучком, не стряхивая росы с ветвей. Долго стоял на озерном берегу, настораживая уши, шевеля ноздрями, прислушивался, приглядывался, нет ли чего недоброго?

Становилось все светлее и светлее. Над озером, пошевеливаясь и покачиваясь, плыл густой туман. На середине залива купалась со своими детенышами старая хитрая гагара. В еловой чаще, над ручьем-говоруном, посвистывала матка-рябуха, сзывая к себе юрких рябков. На коряге, над темной водой, серебряным столбиком стояла чайка и стерегла, не исплеснется ли рыбешка. И лось спокойно входил в воду, погружался в нее по плечи, вздрагивая от наслаждения, пил, пил, зорко косясь на ближний мыс, на его непролазные чащи.

Только и было зверю отдыха от комаров, что в эти утренние часы...

Но в это утро что-то потревожило лося. Прощумел в вершинах елей слабый ветерок, стряхнул росу с ветвей ивы, нависшей над заливом, — показалось, будто брызнула в стороны, спасаясь от бойкого окуня, стайка мелкой сороги. И тот же ветер до-

нес до чутких лосиных ноздрей запах человека. Лось с шумом выскочил из воды, вломился в кустарники, но тут же словно пропал — умеет зверь неслышно бежать родным лесом.

Этот же ветерок донес тревожный запах и до медведицы, учившей своего детеныша охоте на муравьев. Она замерла на миг, чуть слышно заворчала. Медведеныш, подражая матери, оторвался от муравейника, смешно поводя черным носиком, тоже принюхивался, учился распознавать тревожный сигнал, принесенный ветром. Но дымом и железом не пахло, а это самый страшный для зверя запах. Медведица успокоилась, но все же неслышной торопкой поступью словно покатила лесной поляной в кусты, подальше от беспокойного места. Покатился за ней и медвежоныш...

Белка сбежала по чешуйчатому стволу ели к грибку, что заметила еще вчера и даже успела попробовать его — на шляпке гриба остался след ее зубов, будто кто частым гребешком провел. Но тут же сердито цокнула, рыжим пламенем метнулась обратно на вершину ели: там были ее бельчата. А с вершины ели белка перемахнула на такую же соседнюю, на третью, четвертую, и все с сердитым цоканьем, щелканьем отводила врага подальше от своей семьи.

На беличий цокот примчалась лесная вестовщица и болтунья — сорока. Еще не разобравшись в чем дело, она затрещала на весь лес и всполошила его обитателей.

А тревожиться и не следовало бы. Правда, пахло человеком, но каким? Не охотником с ружьем и собакой, не проезжим колхозником, не рыбаком с его трубкой и табаком. Нет, ветер принес зверям весть о том, что есть где-то вот тут, недалеко, маленькие люди. И не пахнет от них ни железом, ни порохом, ни табаком, а просто человеком.

...Их было трое одногодков-пареньков, что еще позавчера вышли из своих домов в ближайший лесок за малиной. Надо было пройти по лавинкам сонное моховое болотце, перевалить большую дорогу-каменуку, пропахшую бензином, по лесной тропинке добраться до Пастухова лаза, до старых

порубок. Вот тут-то и была ребячья благодать — густые заросли лесного маличника, осыпанные спелыми, сочными, сладкими ягодами.

От добра добра не ищут, говорится в пословице, но ведь это правило для лентяев. Крупна и сладка ягода на Пастуховом лазу, но слышали ребята от взрослых, что красным-красно от ягоды на Лоушенде, у большой горы, где лет пять назад были лесонаготовки. Правда, никто из ребят там не бывал. Каждому из них исполнилось только по десять-двенадцать лет и далеко от своего поселка ходить не приходилось. Значит, надо забраться подальше, на таинственную Лоушенду, на ее валуны и кустарники, где малина сама в рот сыплется.

— Пошли? — предложил Венька.

— Пошли! — поддержали его Федя и Вася. Опять-таки от старших они знали, что с Пастухова лаза есть прямая тропа на Лоушенду, перейдешь три болотца да лесной ручей — и вот она, Лоушенда.

— Корзины у нас маловаты, — вздохнул Федька.

— Много ли в них войдет?..

— Ну и что ж? — возразил Вася. — На первый раз сами наедемся и по корзиночке наберем, а завтра по знакомой дорожке опять туда.

— К вечеру дома будем. И торопиться не надо, — заверил Венька. — Хлеб у каждого есть, а дома никто о нас и не подумает: отцы на работе, матери в колхоз ушли, помогать на сенокосе.

— Значит, пошли?

— Спрашиваешь! Конечно, пошли. Только тропу не терять.

Вот с этого все и началось. Сначала тропа была как тропа — набитой, хорошо видной. Вот и первое болотце, и второе. Вот и ручей, и третье болотце. А за ним тропа исчезла куда-то. Начались не холмы и старые вырубki, а какие-то скучные осиновые рощи, потом перед ребятами раскинулся сосновый бор. За бором — опять болото и большое. Переходить его ребята побоялись, пошли искать обходный путь и окончательно запутались...

А тут еще день поскучнел, все реже и реже стало проглядывать из-за облаков солнце, и, наконец, издали прокатился величавый гул.

Надвигалась гроза.

Парная духота стояла внизу, в лесных чащах. Как всегда перед грозой остервенели комары, словно торопясь напиться про запас человеческой крови. Ребята подняли воротники пиджачишек, нахлобучили кепки на уши по самый нос, наломали себе по веничку отмахиваться от лесной пакости, но от поднятых воротников стало еще жарче.

А Лоушенды, ее просторных старых вырубок, поросших малинником, больших валунов все не было и не было. Началась настоящая еловая тайга, где под деревьями даже трава не росла, где все чаще и чаще приходилось перелезть через давным-давно поваленные ветрами деревья.

Грозу переждали под толстенной елью. Сначала пробовали шутить друг над другом, храбрились, но ливень пробрался и через еловые лохматые лапы, прикрывавшие ребят.

Пролетела гроза, и оказалось, что наступил вечер, сырой и мгlistый, с туманом, до краев напоившим лесные поляны. Мокрые, озябшие, жаллись ребята друг к другу и то задремывали, то просыпались, боясь вылезти из-под ели.

Пришло утро — ясное, росистое, звонкое. Ребята побрели теперь наудачу, уже не думая о Лоушенде и ее малинниках. Только бы поскорее выйти хоть на какую-нибудь тропинку или дорожку, только бы согреться и поесть!

Ходьба скоро согрела их, пиджаки и рубахи стали просыхать, по есть хотелось все сильней и сильней. А хлеб был прикончен еще вчера. Никто не думал ни о супе, ни о молоке — хлеба, только краюшку черного хлеба с поджаристой корочкой, со снежным налетом соли!

Хотелось и пить. Но выручил ручеек: напились, умылись, посидели на валежнике. То у одного, то у другого начинали дрожать губы и слезы затуманивали глаза, но плакать себе не позволяли: мужчинам это не положено.

Не до разговоров было. Не хотелось языком пошевелить. Поесть бы и уснуть!

Все же удалось немножко и поспать на лужайке, на солнечном припеке. Да не дали выспаться

комары, опять разгулявшися по солнечной погоде.

Чем дальше, тем глуше, дичее становился лес. Хоть бы пень встретился, пень от дерева, срубленного человеком, и то бы легче было. Но, кажется, в этих местах и люди не бывали. Нашли охотничью ловушку «пасть» — две плахи, настороженные палочкой, но, видно, давным-давно забыл о ней охотник, поросла ловушка зеленым мхом...

Пробовали кричать, но что толку, если вольно шумел ветер, гнул вершины елей, перебирал листву осин, гудел в соснах. Кто услышит слабый человеческий крик в мощной песне летнего ветра?

Брели наудачу, часто присаживаясь. Ели ягоды земляники, костяники, черники, попадались иногда кусты малины и смородины. Но хороши ягоды, когда хлебом наперед закусишь, а без хлеба они как бы водянистыми становятся. Только животы заболели.

Задолго до вечера почувствовали, что ноги стали изменять. Кое-как добрались до ручейка. И забылись, задремали чутким и большим сном под вывороченным еловым корневищем...

Вот отсюда утром третьего дня и нанесло запахом человека на лося и на медведицу. Вот здесь-то и увидела ребят вертлявал белка. И о трех маленьких человечках по всему лесу начала трещать, болтать сорока.

— Вставай, вставай, ребята! — будил своих товарищей Венька, — он проснулся первым. — Вставай! Что мне приснилось-то!

— А что, что?

— А приснилось... — но Венька осекся, взглянул на дружков. Осунувшиеся серые лица со следами слез (все-таки каждый про себя ночью поплакал), изодранные в лесной чаще пиджачки и рубашки... Эх, и зачем было звать ребят на Лоушенду! А дома-то, дома-то как беспокоятся родные!

Венька все же сдержал слезы. Подошел к ручью, с показным удовольствием напился, даже крикнул, подымаясь. Потом заявил:

— А мне приснилось, будто забрался я на самую высокую елку и оттуда наш поселок увидел. Заводская труба у нас, ого, какая! Ее за двадцать

километров видно! Надо бы нам еще вчера на ель взобраться. Пошли искать место повыше.

Первым на ель полез Венька. Но когда добрался до вершины, то увидел, что следом за ним светки на ветку перебираются Федька и Вася.

— Куда вы? Куда вы? — сердито окрикнул Венька ребят.

— А тоже посмотрим, — ответил Вася. — Втроем, может, лучше трубу увидим.

Как вольно, прохладно было здесь, на вершине ели. Как близко проносились над головой облака! Вершина ели покачивалась, но ребята крепко вцепились в шершавые сучья и жадно всматривались вдаль.

Ничего! Никаких следов человеческого жилья. Не видно и заводской трубы. Лес, лес и лес... Только кое-где мерцают серебристые пятна лесных озер.

— Самолет! — крикнул зоркий Венька. — Вон, вон!

— Верно, самолет! — подтвердил Федя. — Значит, там, куда он летит, наш райцентр?

— А ты почему так считаешь? — спросил Венька. — Может, он обратно в область с почтой летит.

Попробовали было махать кепками: может, летчик заметит ребят, но самолет, сверкнув на солнце, как огромная стрекоза, пронесся высоко над ребятами.

Медленно спустились вниз. Полежали под елью, нехотя взялись опять за ягоды. В животах урчало. Но что же будешь делать?

Наступал третий вечер.

Ветер улегся. Перестали кружиться, тыкаться в лица назойливые комары, зато прибавилось мошки.

Но они брели, брели, сами не зная куда. Брели, думая только об одном: упасть, уснуть. Даже есть не хотелось, только ноги стали слабыми-слабыми. И вдруг Венька остановился:

— Тише! Тише! — погрозил он пальцем своим друзьям, хотя они и не разговаривали.

Он обождал немного и радостно спросил:

— Слышали?

— Нет. А что?

— Гудок. Наш. Заводской! Вот отсюда звук прилетел! — и он махнул рукой на низкое солнце.

— Послышалось тебе, — сказал Федька.

— Нет, правда, и я вроде гудок слышал, — подержал Веньку Вася.

— Тише, тише! Слушайте! Вот опять...

Да. Это был знакомый гудок. И пошли, нет, побежали на дальний зов. Но скоро запыхались, сбавили шаг. Часто останавливались, прислушиваясь.

А гудок пел и пел с перерывами. Отдохнет и снова три раза подряд:

— У-у-у-у! У-у-у-у! У-у-у-у!

— Теперь совсем ясно слышно! — радовался Венька. — А вот почему на заводе не вовремя гудят? Не пожар ли? Завод у нас особый, лесопильный. Кинет какой-нибудь дурак окурок в непоказанном месте — беда!

— Беда! — хором подтвердили ребята.

— Пожар, а нас там нет! — вздохнул Федя. — Вот тебе и Лоушенда.

— Ничего, потушат! — заверил друзей Вася. — Помните, как в третьем году на бирже горело? И гудков много не давали, своя команда раз-раз — и потушила. Буксир с пристани прибежал, у него насос — не нашим чета, а пожара уже и нет. Гудит еще?

— Гудит! — ответил Венька. — Я и на ходу хорошо слышу. Только давайте твердо запомним, откуда звук наносит.

— На три ладони левее солнца, — уверенно заявил Федя. — Надо хорошо направление запомнить. А то скоро опять ночь, ребята. Н-да!

— Еще придется ночевать.

— Ослабеем — завтра и до дома не дотянуть.

— Надо сегодня сколь можно больше пройти! Держитесь, ребята!

После заката, когда лесные ложбинки опять затянуло туманами, силы изменили ребятам. Улеглись рядком у большого валуна.

Тяжелая дремота заволакивала мысли. Но опять Венька первым вскочил и неожиданно во всю мочь закричал:

— Эге-г-ге-ге! Э-гей!

— Ты чего? — всполошились ребята.

— Неужто не слышали? — возбужденно спрашивал Венька. — Выстрелил кто-то, вон там, за березняком.

— Да, слышал я, — ответил Федька. — Только, думал, это гром.

— Нет, выстрел! В лесу он всегда раскатывается. У вас отцы не охотники, а меня папа уж сколько раз в лес брал. Ребята, это не нас ли ищут? Давайте кричать все вместе, разом. Ну, раз-два-три!

* * *

— Сначала по кружке молока выпейте, потом вот — по куску хлеба, опять с молоком. И собирайте дровишки для костра. Я чай вскипачу, сразу вас прибодрит. Так, говорите, на Лоушенду направились, за малиной? Хороши! Совсем в другую сторону убрели. Вам до деревни еще немало километров оставалось, да и то если знать, куда идти. Пейте, пейте, бродяги, пейте, а я ракету запущу! В заводоуправлении нам всем по две ракеты выдали, в случае кто найдет вас — сигнал дать...

Иван Петрович — это он стрелял в надежде, что, может, ребята услышат выстрел — вытянул руку, и ракета с треском взлетела в потемневшее небо.

— Ну вот, все в порядке, хорошо видно, пожалуй, вторую и тратить не придется. Ничего, в лесу со мной еще раз переночуете, а утром домой. Я тут все тропы знаю. Мигом дойдем. Ну, малость, конечно, попадет вам от отцов, от матерей.

— От матерей больше! — вздохнул Вася, берясь за кусок хлеба.

— Пускай больше! — согласился Федька. А Венька спросил:

— Иван Петрович, а почему такие частые гудки наш завод давал? Не пожар ли был?

— Какой пожар? Из-за вас, леиманят, чтобы вы гудки слышали и на них из леса вышли. Значит, слышали? Ну и хорошо. Да еще нас, охотников, человек тридцать в лес вышло... Вот мне и повеселилось вас отыскать.

МЫ ПРОШЛИ мимо электростанции, под ярчайшими фонарями над ее воротами, спустились под береговой откос и сразу нырнули в ночь. Ветер запылил, запел в стволах наших ружей, захлопал лапами полушубков. Злой и деловитый, он гнал и гнал шуршащий снег по озерному льду, крутил, взметал мириады снежинок, летевших и летевших из туч.

Дорогу то и дело перекрывали снежные косы, надутые метелью, а порой наши валенки скользили по темному гладкому льду — это тоже ветер постарался, смел начисто снег со льда. А потом опять косы, и ноги в них вязнут по колено.

Монотонный свист, шорох поземки и завывание ветра не располагали к разговору. И трудно было разговаривать на такой погоде, и не о чем: все решено было еще вчера. Выходим вечером после работы, добираемся до села Соколово, переночуем там, а утром, когда можно будет видеть мушку на конце ствола, на охоту с гончими по русакам.

Я оглянулся. Огни нашего села уже скрылись за метелью, только розовое светлое пятно еще виднелось над ним — слабый отсвет уличных фонарей. А впереди снежная мгла.

Мой товарищ остановился:

— Покурим! — прокричал он и, сгорбившись, повернувшись спиной к ветру, стал крутить сигарку. Потом вспыхнула спичка робким огоньком, таким милым в темноте.

Ветер скоро раздул, разметал наши сигарки, красные искорки попрыгали, поплясали на снегу, умчались куда-то. Еще мутнее, еще неприятнее показалась нам эта волчья ночь.

Иногда совсем неожиданно из мглы появлялись наши собаки. Завидев нас, они крутили хвостами и опять исчезали. После этого становилось почему то веселее.

Ветер донес до нас обрывки знакомых голосов, смех. Нас кто-то догонял. Это школьники старших классов торопились домой на выходной. Запесен-

ные снегом, закутанные платками фигурки обгоняли нас:

— Девочки! — окликнул их мой спутник. — Идите вместе с нами, как бы вам с дороги не сбиться!

— Что ты, дяденька! Разве мы дороги не знаем? Не в первый раз. Да вы тихо идете!

Промелькнули и исчезли, еще раз донес до нас ветер их голоса.

А потом мы догнали обоз. Сани были нагружены льноволокном, а на нем неподвижно восседали закутанные в тулупы молчаливые люди. И все бело, только спины лошадей темны от пота и снега, тающего на них.

Нам надоедает идти за последним возом, хотя за ним и теплее. Усталые лошади не торопятся, и мы, прибавив шаг, обгоняем обоз.

Всего-то километров десять надо нам идти, два часа хода. Но путь кажется бесконечным. Так всегда бывает, когда идешь дорогой скучной, однообразной, без кустика и деревца. А мы идем озерным льдом, в полукилометре от берега. Там, на берегу, лес, но разве увидишь его такой ночью.

А дороги на озере теперь и совсем не заметишь. Все чаще начинают тревожить меня сомнения, ладно ли мы идем. Сбейся с дороги, уйди «в озеро», и будет перед тобой почти сорок километров ледяной равнины, да вправо и влево столько же. Где ты сможешь отдохнуть? Чем можешь согреться?

Но спутник мой шагает и шагает вперед равнодушно и уверенно. Он местный человек, рыбак. Мне ли не доверяться ему?

Впереди что-то смутно чернеет. «Лес?» — думаю я. Нет, не лес, но я понимаю, что мы остановимся на минутку, передохнем.

Года три назад осенним штормом сорвало с якорей в озере огромную деревянную баржу, посадило ее на отмель. Видимо, баржа отслужила свой век, и работники пароходства, сняв с нее груз, покинули старуху на отмели на радость прохожим — все-таки можно покурить иногда в затишье под смолеными бортами.

Укрываемся за баржой и мы. Закуриваем, развязываем шнурки у шапок, прислушиваемся, будто можем услышать что-нибудь иное, кроме ушлых завываний ветра в ружейных стволах. Наши собаки, отыскав хозяев, сворачиваются клубочками и снегу.

— Дуры, заблудятся! — бормочет мой товарищ. — Каждый год о подвозке школьников говорят, а занимаются этим только в марте.

— Ты о школьниках, что ли?

— О них. Пробежали мимо нас, и задержать не сумел. Ишь ты, «знаем дорогу, дяденька!» Да кабы днем или тихой ночью, когда дорога наезжена...

Вдруг он поворачивается ко мне и приказывает:

— Снимай ружье, ставь к борту! Давай досок из баржи наломаем да огонь разложим побольше.

— Зачем? Неужели ты озяб или ночевать тут собираешься? Так ведь мы половину пути уже прошли!

— Ладно, делай, что говорю. Вон кол лежит на льду, этим колом, как ломом, доски отворачивать можно. Вон тут борт крепко поломан!

Удивляюсь выдумке товарища, но знаю, он упрям и на своем настоит. Знаю и то, что человек он серьезный и если что делает, то не без основания. А расспрашивать его нет смысла — молчун.

Доски отламываются легко: давно уже выржавели в них гвозди. И горят они отлично — дымным, но ярко-багровым пламенем. Казалось, большой костер мы уже развели, но Семеныч, так зовут моего спутника, не прекращает работы, подносит и подносит топливо, укладывает его не в кучу на огонь, а вытянуто, штабелем.

Впрочем, он снисходит до объяснения:

— Дольше гореть будет. Вдоль ветра уложено!

Потом Семеныч садится к огню, греет руки, закуривает.

Собаки вылезают из снега, совсем было их замело, и тоже придвигаются к огню, пятясь, если пламя начинает полыхать особенно ярко.

— Не близко от баржи огонь разложили? — беспокоюсь я. — Не сгорит?

— Не спорит, — спокойно отвечает Семеныч. — У меня рассчитано...

Но мы не долго засиживаемся у огня и опять то скользим по льду, то бредем снежными косами; ветер плотно укладывает их, идти по ним тяжело, а путь, как и до этого, кажется бесконечным.

— Леший нас, охотников, носит за тридевять земель, — негодую я сам на себя. — Как будто у нашего села охотиться не на кого, так нет, обязательно соблазнишься дальними, нетронутыми местами. А там своих охотников полно!

Я припоминаю бугристые, в мелком кустарнике, самые заячьи места у села Соколово. Вспоминаю, и уже исчезает досада на самого себя. Нет, ладно выдумал Семеныч, на славу завтра поохотимся. Вот только как погода?

— Добрались! — доносится до меня голос Семеныча.

Перед нами темная стена леса. Мы поднимаемся с озерного льда на берег. Грозно режут вершины деревьев, но это не страшно: под ними плотная, накатанная дорога, идти по ней то же, что по полу. Скоро и село.

* * *

Ночуем мы у Константина Петровича, колхозного счетовода, такого же заядлого охотника-зайчатника, как и мы. И вечер идет незаметно в чистой избе, в тепле, за самоваром и охотничьими рассказами.

Но хозяйка обеспокоена, часто подходит к окну, вглядывается в него.

— Дочку из школы жду! — объясняет наконец она. — В девятом учится. Не знаю, пошла ли на выходной или в интернате осталась. Ведь у них, словно у коз: вздумает одна по такой погоде идти — и остальные за ней. Вот и беспокоюсь.

Я взглядываю на Семеныча, хочу рассказать о школьницах, обогнавших нас там, на озере. Но Семеныч равнодушно бросает:

— Придут, дорога знакомая!

— Знакомая-то знакомая, да переметает ее сегодня. И мутно уж очень!

Но тут хозяйка прислушивается — в сених слышны легкие шаги.

— Никак она? Нюрка, да что ты как поздно! И вся расстроилась из-за тебя! Сидела бы в интернате, всего тебе привезено, нет, обязательно в такую погоду домой надо!

Но сама рада и тому, что дочка пришла, не побоялась трудной дороги, и тому, что кончилась материнская тревога.

А Нюрка, быстро переодевшись, садится за стол. Налив в чашку чаю, говорит:

— Мы шли, шли, весело так, все смеялись, смеялись. А потом страшно стало: мутно так и дороги нет, совсем не знаем, куда и идти. Танька Морева как з-а-плачет! А я не плачу. Я говорю: «Чего плакать, надо идти, куда-нибудь и выйдем». А Танька говорит, что волков боится. И опять пошли, пошли, а куда, не знаем. Потом смотрим: огонек далеко-далеко. Мы как обрадовались! Танька плакать перестала, только носом фыркает. Шли, шли до огонька, устали даже. А потом видим — баржа старая, знаешь, что на Слободской мели, и костер у ней горит. А у костра подводчики со льном стоят, ломают баржу, кидают доски в огонь, греются. И мы погрелись. Обозники поехали, а мы сзади за лошаадьми. Тепло!

— Надо, надо в правлении колхоза сказать, чтобы вешки по озеру поставили, — озабоченно говорит Константин Петрович. — Каждый год только в середине зимы об этом вспоминаем. А случись что в озере — пропал человек!

— Не рано уже, спать, кажется, пора, — позывая, сказал Семеныч. — Устрой-ка нам местечко где-нибудь. Погода к утру затихнет, погоняем зайчишек власть. Не зря мы сюда шли!

СТЕПАН-ПРОСТОТА

ТИШАЙШИЙ день золотой осени. Синее-пре-синее небо, кое-где на нем белые пушинки облачков, темная стремительная вода лесной реки, а по

берегам — несказанной красоты осенние леса и алым кружевом по их опушкам гроздь рябины.

Пахнуло дымком костра. Тропа вывела меня к речному мыску. Среди валунов лениво курится небольшой костер, у костра люди. По баграм вижу — сплавщики. Ну да, так и есть, залом разбирают. Ишь, как наворотило бревен, словно плотина поперек реки.

Подошел к сплавщикам, поздоровался, присел к огню, закурил. Прислушался к разговору:

— По одному бревнышку артелью из залама выдергивать — это же на месяц работы, река замерзнет к тому времени, — безнадежно бубнил длинный и какой-то нескладный пожилой сплавщик.

— Все дело в коряге, — рассудительно замечал широкоплечий парень без кепки на голове (буйные вихры белокурых волос, которыми, видно, он гордился, были лучше всякой шапки).

— Ясно, что в коряге, — поддержал его третий сплавщик, человек пожилой, бородатый. — Кабы летом, можно бы ее подрубить. Тут неглубоко, по грудь. А кто теперь, когда олень в воду ступил, в реку полезет? Прямая простуда. Кабы еще после этого водки стакан!

— Ты за водку и на луну по соломинке слазашь! — язвительно сказал длинный. — Ты на такие дела мастер!

— Что ж, так сидеть и будем? — спросил еще кто-то.

— Нет, вот кабы взрывчатки килограмма дватри! Все бы разворотили, — мечтательно вздыхая, ответил белокурый.

— Взрывчатка в этом случае оно бы неплохо, — подтвердил еще один сплавщик, сушивший портянки над костром. — Только два килограмма на такое дело мало.

— Хватило бы! Не такие штуки взрывчаткой поднимали.

Разговор оживился. Почти все побывали на войне, было о чем вспомнить и рассказать. Белокурый парень поведал историю о том, как он нес на себе

двадцать килограммов взрывчатки: надо было в тылу врага взорвать железнодорожный мост.

— Да еще три диска автоматных в мешке было, ну, хлеба там буханка и еще кое-что. Всего пуда два. Досталось мне!

— Взорвали? — поинтересовался длинный.

— Только бухнуло! Так балки в разные стороны и полетели! Мы — дралка, знаем, будет сейчас нам весело. Ну, без груза бежалось, хорошо! Ушли благополучно.

— Как ты от двух пудов не надорвался! — иронически покачал головой сушивший портянки. Теперь он покончил с этим делом и обувался: по-солдатски споро и ловко намотал на ногу портянку, подобрал штанину, а потом натянул резиновый сапог.

— Какие голенища длинные, а все равно воды черпнешь — вздохнул он и повторил: — Не надорвался, говорю, от двух пудов?

— А что, ты больше носил? — обиделся белокурый.

— Случалось! Это, кажется, в сорок четвертом было. На Первом белорусском. Весной. Такая грязь — ног из земли не выдрать! Мы все в наступленьи да в наступленьи. Сами понимаете, народу поубавилось, да и остальные притомились. Отвело командование нашу часть в недалний тыл, на отдых, денька на три. Вот и посылает старшина нас двоих и еще третьего с повозкой в село, забыл, как оно называется, да, впрочем, от села немного и оставалось, одно звание, печные трубы. Посылает нас старшина за десять километров за продуктами на всю роту. Мяса получить, крупы, махорки. Дело хорошее.

Он обул вторую ногу, разгладил голенища и присел поближе к огню.

— Вот доставились мы в село честь по чести. Пешком шли, на повозку не присаживались, лошадь пожалеть надо, ей же обратно по такой грязюке груз везти. Получили мясо, махорку, а в остальном отказ. «Нет никаких круп!» Как так нет, почему? Солдатам одной похлебки мало, им и каша нужна! Говорят: «Отстала часть обоза, дороги пло-

хие. Завтра крупу привезут, завтра и получите». Вот и поговори со снабженцами! Делать нечего. Отправили мы мясо и что остальное было получено, а сами задержались на полчаса: узнали, что свежие газеты сейчас легковая машина доставит. Думаем: надо обязательно газет на роту взять. И что ты скажешь, газеты получили, и вдруг окликают нас: «Идите крупу получать, рис или гречу. Грузовики с продуктами пришли!» Тьфу! Что ты будешь делать? Подводу-то мы отослали.

Получили мы крупы семь пудиков! А на чем ее везти? Туда-сюда — грузовика нам не дают: к вам, мол, только на лошади добраться можно. И лошадей тут в селе нет. Хоть бросай крупу! А не бросишь. Ребятам каша нужна. Вот мой товарищ и говорит: «А понесем, Васька, крупу на себе. Всего-то семь пудов, и путь недалкий, десять километров». — «Что ты, — говорю, — ошалел? По такой-то дороге да такой груз? Лучше еще похлопочем, может, чего придумаем». — «Трудно, — говорит, — придумывать, а вдруг нашу часть с отдыха да опять в бой? Не раз так бывало. Лучше понесем крупу, и всего-то по три пуда с лишним на спину. Нельзя ребятам без каши!»

Уговорил. Рассыпали мы крупу поровну в два мешка, лямки приспособили и поперли. Ноги скользят, на сапоги грязь комьями липнет, хоть ножом ее, проклятушую, срежай. Идем, пыхтим, батожками, что нищие, подпираемся. Не то мы солдаты, не то верблюды! Так километра три прошли, зижу — не могу больше. И груз, и грязь — кругом тяжело! Мой товарищ на меня сердится: «Слабучина ты, Васька!»

Присели покурить. Тут он из моего мешка в свой еще с пуд или больше отсыпал. Опять пошли. Ну что ж, принесли, каши наварили, а наутро и верно — конец нашему отдыху, опять в бой.

— Ну вот, ты тоже два пуда нес, а говоришь! — заметил белокурый.

— Ничего про себя не говорю, я про товарища — пять пудов нес!

— Эй, эй, давай сюда, тут мы! — завопил длин-

ный, вскакивая и махая кому-то рукой. — Здесь мы! Давай сюда!

Береговой тропинкой шло еще несколько сплавщиков. Они спустились к нам, к костру.

— Кукуете, зимогоры! — спросил один из пришедших. — А мы свой участок в порядок привели. Можем теперь и домой, время не раннее.

— Вам — что! А нам тут почевать придется, — откликнулся белокурый. — Скажите на рейде мастеру, что застряли мы тут. Коряга посреди реки на отмелем месте весь залом держит. Как ее уберешь? Придется по бревну разбирать. Подослал бы мастер завтра к утру еще человек десяток. Да хлеба пусть принесут, чаю да сахару и еще там чего. У нас продукты приходят к концу.

— Коряга, говоришь? — спросил задумчиво коренастый, плотный парень с извилистым шрамом на левой щеке. — Вы бы ее подрубили. Топоры у вас есть и пила, если надо.

— Ловок ты! Ведь не лето! Сунься-ка в воду, ошпарит!

— Велико дело — вода! Это только в бане горячая бывает! Ну, озябнешь — выскочи, у огонька погрейся. Зато не надо тут сидеть, по бревнышку залом раскатывать! И вместе домой пойдём, артельку.

— Кабы водка — хватил бы стакан и согрелся! — вставил свое пожилой с бородкой. — Тогда бы и я в воду полез... А так...

И он безнадежно махнул рукой.

Парень со шрамом подошел к топорам, выбрал себе один по руке и стал неторопливо раздеваться.

— Брось, Степан, застынешь, — заговорили остальные. — Из-за чего простуду наживать? Разберем и по бревнышку!

Но Степан уже разделся, а потом, обув сапоги без портянок, зашагал по скользким камням.

— Верно, холодновато! — пробормотал он, когда вода залила голенища его сапог. Вот он погрузился почти по шею, вот идет все дальше, дальше, вот стал на месте, пробуя ногою дно, передвинулся ниже по течению и, видно, нащупал отмель — но казался из воды по пояс.

Все молча следили за ним, опираясь на багры.

— Правей, правей бери! — крикнул ему кто-то. — Коряга вон под тем сосновым бревном!

Но Степан, стоявший теперь в воде только немногим выше пояса, присел и начал орудовать топором под бревнами. Только вода вскипала вокруг его белого и плотного тела.

— Готовь багры, становись к бревнам! — крикнул он, с усилием выворачивая корягу из реки. — Давай, не ленись, сейчас рванет!

И рвануло! Раздался глухой шуршащий гул. Бревна залома закачались, зашевелились, ожили...

— Степа, берегись! — отчаянно завопил кто-то, и все подхватили: — Берегись, пошло, пошло! Брось топор, плыви!

Залом дрогнул и, словно нехотя, стал выгибаться своей шершавой спиной, быстрее, быстрее замелькали в черной воде отдельные бревна. Гул нарастал.

— Берегись, Степа! Эх, парень!

Но Степа уже плыл саженками, фыркая и отдуваясь, а его настигали бревна, вырвавшиеся из плена.

— Эх, сомнет его! Зачем только полез!

— Ты не полез бы — робок! Держись, Степа!

А он уже был у берега, посиневший от холода, но довольно улыбающийся, с топором в руке.

— И топор не бросил! Головушка! Мог бы пропасть из-за него!

— Вот еще! Топор человеку первый помощник, — бормотал Степан, вылезая на сухой берег. Он подошел к костру, снял сапоги, хлюпавшие водой, и стал, подрагивая, одеваться.

Остальные в это время орудовали баграми, скатывали с берега обсохшие бревна, споро и дружно шла работа. Глухо постукивали друг о друга, трещали иногда, ломаясь, бревна, но река несла и несла их все дальше и дальше.

Одевшись, Степан присел у огня, негнуцимися от холода руками свернул цыгарку и с наслаждением закурил.

— В сапогах тяжелее плыть, — сказал я.

— В случае чего их скинуть можно, — ответил он. — На босу ногу обуты. А без сапог нельзя по

камню идти — ноги поранишь. Я теперь их на лялочки поставлю, вода из них выбежит, зато у меня портянки сухие, согреваются ноги.

Он блаженно растянулся у огня, как человек, честно заработавший свой отдых.

— Здоровенная коряга меж камней заклинилась, — заметил он. — А в воде рубить трудно, в ударе силы мало. Подрубил главный сук, пришлось его обламывать.

— Ранение? — спросил я, кивнув на его шрам, который ярко горел на бледной от холода щеке.

— Осколком, — коротко ответил он.

— Есть-таки у вас силенка!

— Была! Пойти разве к ребятам, а то у огня с одной стороны жарит, с другой ветерком берет.

И, подняв багор, зашагал к берегу.

* * *

Вместе с бригадой и я возвращался домой. Давно уже была ночь, звонкая и тихая по-осеннему. Лунный свет косыми полосами падал на дорогу среди соснового бора.

Поравнявшись с Васильем — это он рассказывал о том, как несли крупу, — я спросил:

— Что же в дальнейшем с вашим товарищем стало, с которым вы ребятам крупу несли? Жив он остался после боев?

— Это кто? Степка-то? Жив!

— Степан, сказали вы? Не тот ли, который сегодня корягу рубил?

— Он самый! Хороший мужик! Мы его все Степаном-простотой зовем. Он такой — без выдумок, без ехидства. Со всеми заодно!

Под ногою тоненько позванивал первый ледок. Быть утром белому инею!

УТРО НА УНЖ-ОЗЕРЕ

ЛЮСЯ давно намекала матери, что хочет сходить со мною на Унж-озеро. Но моя жена сердилась на то, что я подбиваю дочку на дальний и опасный, по ее мнению, поход:

— Ты — известный лесной бродяга! — ворчала она. — А вот куда девчонку за собой тянешь? Что ей в лесу делать?

Я помалкивал, уверенный в том, что Люся ласковой и ревом добьется у матери согласия. Ведь так мы мечтали об этом походе! Не раз зимними вечерами изучали с нею карту района, пути к заветному Унж-озеру!

За утренний чай сели молча, как бывает перед семейной грозой. Сегодня намечено у меня идти на Унж-озеро. Обдумываю, как начать разговор с женой о том, чтобы взять с собою Люсю. Люся вертится на своем месте, поглядывает на меня. Знаю — ждет, когда я заведу речь о походе. И вдруг жена говорит:

— Ты, Люся, в дорогу возьми мою старую ватную пальтушку. Почевать в лесу придется, ночи теперь холодные, пальтушка пригодится.

Радостный визг Люси. Она выскакивает из-за стола, обнимает и целует мать и пускается в пляс.

— На место! За стол садись! — пригворно сурово кричит на нее мать. Но я понимаю жену: она и сама бы не прочь в лес, да вот хозяйство и прочее...

Пьем чай торопливо: вдруг хозяйка передумает? А она портит уже нам потихоньку настроение:

— Люся, воды наноси. Шесть ведер, я стирать буду! А ты — это ко мне — сухих дров приготовь, помельче наколи. И кадушку, Люся, вымой...

Все поручения выполняются с небывалой быстротой и точностью. Важно поскорее удрать. Вот почему я помогаю Люсе, а Люся мне.

За селом чувствуем себя свободными птичками. Люся опять танцует «танец дикаря» и невежливо показывает язык какой-то рыжей собачонке, с удивлением смотрящей на развеселившихся людей.

В путь, в путь! На Унж-озеро!

Полевая тропинка, потом тропинка поскотиной, потом мелкий лесок, потом и пыльная большая дорога.

Тут мы присели отдохнуть, и я осматриваю Люсин рюкзак: уж очень он набит. С таким рюкзаком далеко не уйдешь. И действительно, чего только в

нем нет! Толстенный самодельный блокнот — вести дневник похода, блокнот поменьше — в запас, сковорода рыбу и грибы жарить, кухонный щербатый нож — им я обычно щеплю лучину для растопки. Нож столовый — тоже в запас, грудя вареной картошки, пук зеленого лука и, наконец, пучки моркови, еще не отмытой от земли.

Большую часть содержимого Люсиного рюкзака прячем в кустах, прикрываем травкой:

— На обратном пути все это возьмем, — утешаю я приунывшую дочку.

Скучновато идти знакомой дорогой — это я говорю о себе. Но Люся довольна: для нее за каждым поворотом большака все новые и новые открытия. Вот огромный серый валун — «Старухин камень». На него можно залезть и постоять в гордой позе со сложенными на груди руками, совсем как Айртон из «Детей капитана Гранта». Вот еще незнакомые Люсе лесные цветы, вот какая-то птичка перелетает с куста на куст, отводит людей от своего гнезда.

Но самое приятное открытие — это заросли лесной малины вдоль дороги. Столько ее, что прохожие не могут обогнуть сочные ароматные ягоды.

— Люся, хватит тебе! Пойдем! Если у каждого куста останавливаться, так мы и за неделю до места не доберемся!

— М-м-м... минуточку! Папка, да разве дома такую благодать увидишь? Ты поешь ягодок тоже, вот тот куст, смотри, весь в ягодах!

А у самой руки так и мелькают: ягодка за ягодкой летят в рот.

— Оставайся здесь, поешь и домой вернешься, а я пошел! — сердито говорю я и решительно иду вперед.

Помогло! Люся бегом догоняет меня, с сожалением поглядывая на кусты малины.

— Ничего, — утешаю я ее. — Вот на обеденном привале поешь ягод. А сейчас — в путь, в путь!

Привал на обед устраиваем под елями у звонкоголосого лесного ручейка, что пробивает себе дорогу к далекому озеру, светловодный, холодный и веселый.

— Хорошо бы искупаться! — мечтательно говорит Люся, зачерпывая в ручье полный котелок воды. — Да уж очень маленький ручеек!

Она запрокидывает голову, чтобы напиться, но котелок выскальзывает из ее рук, и вся вода — на Люсином платье.

— Вот и искупалась! — говорю я. — Каково?

— Бр-р-р! Ну и холодная! — переводит Люся дыхание. — Вот холодища-то! А хорошо! Ничего, платье высохнет! Папка, хочешь я и на тебя котелок вылью?

— Как-нибудь в другой раз.

Платье сохнет на сучке ели. Мамина пальтушка пригодилась. С ломтем хлеба в руке Люся забирается в малинник.

— Все твои теперь кусты и ягодки, — разрешаю я Люсе и ложусь в тень подремать и обождать, когда спадет полуденный зной.

* * *

Идем мы на Унж-озеро не просто так, а по делам краеведческим.

Узнал я, что на берегу этого озера, там, где из него выбегает речка Унжа, часто находят странные черепки — обломки какой-то посуды. Украшены они ровными рядами глубоко вдавленных ямок, отпечатками чего-то вроде гребенки. Местное население обычно называет их «лешевыми пирожками».

На самом деле черепки эти — обломки древних глиняных сосудов, что были сделаны две-три тысячи лет назад людьми неолитового каменного века. Значит, там, где черепки, можно пайти и кремневые орудия, и даже изделия из кости, и многое другое, что осталось после людей на месте, где было когда-то их поселение.

Вот мы и отправились искать «лешевы пирожки».

Люся уже не перепрыгивает придорожные канавки, завидев куст малины в сочных ягодах. Устала. Все чаще спрашивает, далеко ли до Унж-озера.

В экспедицию пошла — терпи! — отвечаю я.

Это подбодряет Люсю. Экспедиция — значитель-

ное, важное слово. Это тебе не школьная экскурсия на ближний луг. Экспедиция — вроде путешествия в неизведанные места и страны. А экскурсия, что ж! Так себе, школьный урок, только не в школе!

Свернув с большой дороги, идем береговой тропкой вдоль той самой речки, что выбегает из Унж-озера. Вьется тропа то среди черных таинственных валунов, то спускается в моховые болотца, то ныряет в еловую чащу. А лес здесь такой, какой в рисунках к сказкам бывает: дремучий, немножко угрюмый. Нам приходится иногда перелезть через толстенные осины и ели, поваленные ветром. Совсем иструхли эти деревья, но покрыты бархатисто-зеленым мхом. Ступишь на такую валежину — ноги проваливается в бурую древесную труху.

Солнце все ниже, тени длиннее, пряно пахнут багульниковым болота. До озера недалеко, оно вон там за той грядой сосен. Но вдали что-то глухо гудит, перекачивается. Быть грозе!

— Пришли! — заявляю я и сбрасываю с плеч надоевший рюкзак.

— А где же озеро? — осматривается Люся.

— Озеро рядом, но мы туда сейчас не пойдем, там нас гроза застанет. Да и поздно уже. Мы тут ночевать будем.

— В лесу?

— Ну конечно! Самое подходящее место. Река — вот она. А на полянке видишь — сеновал с сеном. В нем мы от дождя и укроемся.

И Люсин рюкзак летит на землю. Разводим крохотный костер, только чай вскипятить. Люся растянулась на траве, рада отдыху. А по вершинам леса уже нет-нет да и пронесется порыв ветра. Но вскоре все замирает. Над лесом плывет чугунная туча, седые пряди свисают с нее. Вот туча наползает на солнце, и миг становится мрачно и уныло. Раскаты грома звучат все злее.

Чай допит, угли костра залиты его остатками.

— Люся, умеешь по углам домов лазить?

Люся хихикает. Смешной папка! Прекрасно знает, что в лазанье по углам деревенских домов — да что там по углам, хоть на любое дерево! — Люся

никому из мальчишек не уступит. Чего же и спрашивать?

— Тогда — марш на крышу сеновала! Я тебе рюкзаки подам и сам туда же заберусь.

Люся еще не знает, что лесные сеновалы в наших местах особенные. В них просто не попадешь. Правда, есть у них и ворота, но перед тем, как заполнить сеновал сеном, эти ворота закладываются жердями, затем на крыше сеновала раздвигаются несколько досок и в отверстие сбрасывают сено. Набил сеновал дотуга, сдвинул доски, и все в порядке. Надо лишь узнать, какие доски сдвигаются. Ну, это дело нехитрое.

Вот мы и под крышей сеновала. Вовремя! Несколько минут мертвой тишины, и во все щели льется фиолетово-розовый, дрожащий, нестерпимо яркий блеск молнии. Погасло. Темень. Обвал грома, и по доскам крыши застегал веселый ливень.

— Сухо, тепло! — радуется Люся, забираясь в сено поглубже, и вмиг засыпает...

* * *

Туманное, росистое утро. Трава — седая от росы, седые кусты ив и ольхи по берегу. Молодые сосенки в этой росе кажутся бледными.

— Папка, дай еще одну минуточку поспать! Ну самую маленькую! — бормочет Люся.

— Люся, мы в экспедиции!

Опять помогает волшебное слово.

Торопливо пьем чай. Пора и на озеро.

— Люся, пойдешь до озера босиком. Туфли и чулки спрячь в рюкзак.

— Папка, да ведь роса холодная! Я озябну!

— Ничего не поделаешь! Если в туфлях и чулках по росе пройдешься, и ноги и обувь мокрыми будут. Весь день придется в такой обуви ходить. И тесно, и неприятно, и для здоровья нехорошо. А босиком хорошо! Ноги хоть и покраснеют, но разогреются на ходу. На месте же ты обуешься в сухое.

Убедил. Пошли.

Вот оно Уж-озеро! Узкая полоска песчаного бе-

рега, над нею свисают старухи-сосны, дремучие ели, корявые дуплистые березы. По песку груды валуны лежат...

Начинаем обследование стоянки. Поднимаем каждый черепок, украшенный ямками, зубчиками, полосками, каждый кремешок.

Нам везет. У валунов я нахожу плоский черный каменный клин. Нет, это не клин, это — топор!

В диком восторге Люся пляшет вокруг валунов. Сплясал бы и я, но неудобно — все же начальник экспедиции.

— Ой, папка! Какая красота! Ты посмотри! Вот бы так нарисовать!

Первый раз в жизни своей Люся видит восход солнца в лесу над озером и в восхищении замирает. Над тростниками, над розовым и голубым туманом поднимается алый круг солнца. Под ним — озеро, синее и алое, над ним — небо без облачка. А вокруг лесные чащи в сверкающей росе.

— Нет! Мне так не нарисовать бы! — признается, вздыхая, Люся.

Продолжаем свои поиски. Люся опять пляшет. Она нашла кремневый наконечник копьядротика. С такими копьями древние люди выходили на охоту.

Находим мы и наконечники стрел, и скребки, и орудия из шлифованного сланца. Но больше всего черепков глиняных сосудов...

Проходит час, другой. Солнце стало золотым. Усиливается жой. Вижу — дочка уже устала. Ведь молодым хочется все время находить интересное и еще более интересное. А тут однообразная работа. Ну что же! Я понимаю Люсю. Ведь и научная работа — не цепь радостных открытий и находок, а кропотливое и порою очень однообразное дело. Дело не только дней, но месяцев, а иногда и годов. Только тогда ты видишь плоды своего упорного труда.

Будет время, и Люся поймет это. А пока:

— Дочка, раскладывай костер, вари обед!

— А что варить? У нас только и есть, что хлеб да соль. Ну, еще чай и сахар. Ах, забыла — еще зеленый лук есть!

— Ну-ка, пройдишь берегом по лесу, набери грибов. Вот и похлебка.

Занятый своими поисками, я не замечаю времени. Но скоро уже полдень, а дочки все нет. Встревоженный, окликаю ее.

— Иду! — отзывается она. — Иду! Папка, здесь малины!!!

Показывается из леса. В подоле платишка грудка белых грибов.

— Уф! Ну я и наелась! Даже губы свело! И малина, и черная смородина, и костяника! Даже черемуха поспевает! А грибов! Вот бы маму сюда. Она очень любит грибы собирать.

Грибной суп получился на славу! Только густоват, ложкой не повернуть. Но едим его в полный аппетит. Потом завариваем чай. К нему Люся приносит малины...

— Ах, как хорошо! — радуется Люся. — Ты, папка, бери меня всегда с собою. Ладно?

— Ладно, — соглашаюсь я, помалкивая о том, что не всегда бывают такие удачливые и хорошие деньки. Иной раз и под дождем работаешь, и попусту сколько места зря пройдешь!

В ветвях березы над нами сердитое цоканье:

— Папка, папка — белка! — кричит Люся восторженно и уговаривает рыжего зверька: — Иди к нам! Мы тебе грибов дадим, хлеба, сахару!

Но белка недовольна, встревожена людьми. То спустится на самую нижнюю ветку и цокает, ругает нас по-своему, то рыжим огоньком взлетит на вершину дерева.

Пока заканчиваю работу, Люся успевает набить свой рюкзак отборными белыми грибами.

— Маме в подарок, — объясняет она.

— Донесешь ли? — сомневаюсь я. — Выбросишь на полпути. Да и перемнутся они!

Она упрямо мотает головой. Очень уж хорошие грибы, надо донести!

Устало бредем береговой тропинкой. До большака три километра, подсчитываю я, да большаком двадцать пять до дома. Сегодня и думать нечего идти до своего села. Придется переночевать в ближайшей деревне.

Опять-таки нам, как говорится, везет. Только выбрались на большак и присели отдохнуть — пока-

залась автомашина со знакомым шофером. Не ожидая нашего сигнала, он сам останавливает машину, приглашает:

— Девицу — со мной, в кабинку, а вам придется на верхотуре, на мешках посидеть!

Надо ли еще приглашать? Люся снимает свой рюкзак с плеч, сует его мне:

— Вот видишь, вот видишь? И грибов привезем! А ты говорил — выбросить их!

И бегом в кабину! Какое счастье для нее посидеть у рычагов, циферблатов и прочих таинственных частей машины. И хотя Люся еще час тому назад заверяла меня, что, окончив школу, будет учиться на археолога, но теперь твердо знаю, — она готова быть только шофером!

«Ладно, ладно, — думаю я, перекидывая рюкзаки в кузов и сам карабкаясь за ними на «верхотуру». — Кем бы ты ни была, дочка, работай с увлечением, честно!»

ПОСПЕЛА ЛИ МАЛИНА!

ЛЕСНИК Антон шел обходом по своему участку. Вздумалось ему завернуть на Горелый остров, посмотреть, не поспела ли малина. Ребятишки-внучата давно тормозат, спрашивают, когда дедушка их в малинник сведет. Пора бы поспеть сладкой ягоде: рожь зреет, а она в одно время с малиной доходит.

Стал Антон подходить к малиннику, слышит — ворочается там кто-то.

«Кому бы это быть?» — думает Антон.

И вдруг затрещало, зашумело — и выскакивает из малинника медвежонок...

— Ах, чтоб тебя! Напугал-то как!

А медвежонок вприскок через пни, кочки, валежник, вперевалку шариком от человека. Тоже напугался. Добежал до большой березы, полез на нее. Устроился там поудобнее на суку, облапил его,

сидит, вниз на Антона глазенками-изюминками поглядывает.

Антону и смешно и досадно. Изловить бы звереныша! А на дерево лезть жутковато. Вдруг медведица где-нибудь рядом бродит? Тогда добра не жди. И что всего обидней — ружья с собой не взял: куда его, думалось, время не охотничье.

Постоял Антон, подумал. А потом пиджак снял, на куст его развесил и рукава в сторону развел, как у пугала огородного. Повыше на сучок шапку свою пристроил. И домой заторопился.

Дома соседу в окно постучал:

— Бери-ка, Никита, свое ружье. Пойдем со мной.

— Куда? Зачем?

— Насчет медведя смекаю. На Горелом острове. Да быстрее справляйся!

Собрались в один момент. Антон с собой корзинку взял и мешок.

Пришли на Горелый остров. Никита спрашивает:

— Где же медведь?

— А вон, на березе сидит, меня ожидает. Ищи, как глазами-то водит.

— Да ведь медвежонок это! Значит, и медведица где-то рядом. Даст она нам ходу, Антон.

— Не бойся! Это сирота. Матери у него нет. Кабы она была, так давно бы мой пиджак растрепала и детеныша увела. А тут сидит медвежонок на березке, моего одеянья боится, думает — человек стоит. Полезай-ка на березу.

Ну, разговор короткий — скоро медвежонок в мешок попал.

Антон соседу говорит:

— Ты посиди, покури часек, а я внучатам малинки наберу. Обещано.

— Да ведь неспелая еще малина. Рано.

— Нет уж, спелая. Медвежонок не зря в малинике был. Он тоже понимает — сладкое любит, не станет неспелую ягоду есть.

...А рассказал нам эту историю сам Антон-лесник. Он в город приехал и в зоологический сад зашел медвежонка проведать. Тот уж в большого медведя вырос, и Антона не признавал.

— Это он людей стесняется,—говорил Антон.—
А так признал бы. Медведи, они умные!

— Как же он не разобрался, что под березой не
человек стоял, а пиджак висел?

— Ну, тогда он маленький был, глупый!

УХА НА ПАЛКЕ

— **О**ХОТА недаром охотой называется. Заплати мне тысячу рублей, чтобы я за эти деньги день-деньской по лесу шатался,—и век не соглашусь. И добро бы путевая добычишка была, а то всего по пяти рябков достали. Проще было бы килограмм баранины купить: и ноги бы сберегли, и дождем бы нас не намочило.

Так ворчал Африкан, сердито шагая лесной тропой. За ним молча плелся и я. Устали мы оба, а тут еще с самого полудня зарядил мелкий-премелкий дождик ранней осени. И до дому неблизко, и есть хочется, как волку в марте.

— Хлеб у тебя остался? — буркнул Африкан.

— Есть горбушка.

— Побереги. Сейчас мы горячей ухи похлебаем.

— Какой ухи? — удивился я. — Да тебе, никак уже сны сниться начали, Африкан Ильич?

— Не спорь! Котелок у нас есть? Есть. Соль есть? Есть. Ложки из бересты сделаем. Не в первый раз.

— А рыба где?

— Рыба на палке. Караси. Не крупны, зато сладки. А коли не понимаешь — помолчи.

Пришлось молчать.

Скоро мы свернули с тропинки и зашлепали унылым моховым болотом, поросшим чахлыми сосенками.

— Бересты на растопку да на ложки прихвати! — командовал Африкан.

За соснами тускло блеснуло круглое лесное озеро.

— Ну, вот, прибыли! — довольно крикнул Африкан, ставя ружье к сосне и вытаскивая топор из-за пояса. — Разводи огонь, вешай котелок с водой, а я рыболовством займусь.

Вырубив длинную жердь, он воткнул ее наискось в озерное дно и начал крутить в одну сторону, затем, крихтя, поволок жердь обратно. На ее конце намотался тяжелый комок озерного мха, который так густо покрывает дно некоторых лесных озер.

— Ну вот и рыба! — заявил Африкан, разбирая этот зеленый, крепко пахнувший водяной сыростью и болотом комок. — Видал? Карась хитер, да ленив! Уткнется носом в донный мох и дремлет себе. А мох-то теперь у меня на берегу. Разбирай его, разбирай! Ага! Вот еще один, вот еще! Ишь, вы куда, лодыри, запрятались? От щуки спасались, да ко мне и попались. Не крупны, зато сладки! Надо еще раз другой жердь «закинуть», уха гуще будет...

Через час, сытые и отдохнувшие, мы шли бором, и Африкан рассуждал:

— Охота — она и есть охота! Дай ты мне тысячу рублей и корову в придачу, чтобы я дома сидел, ни за какие блага не соглашусь. А лес на что охотнику дан? То-то же! Молчи и не спорь!

ПЕСНЯ СВЕТУ

НУ И ПУСТЬ мне в тот раз не повезло, не добыл я глухаря, зато посчастливилось в другом... Мы присыпали землей дотлевающий костер и спустились с соснового косогора к болоту, где мой товарищ свернул вправо, а я еще несколько минут стоял, прислушиваясь к его осторожным, замирающим шагам и пытаюсь присмотреться, освоиться в темноте. Но была в ночи уже та грань, когда темнота дрогнула, и этот торжественный момент журавли на дальнем болоте встретили трубными кликами, и по-лешачиному начали перекликаться белые куропатки.

Лесное утро!

Наугад, по памяти шел я узкой лесовозной дорогой. Смутно серел по обочинам снег, уже пропитанный снизу бурой болотной водой. Журавли, открыв свое, успокоились, да и куропатячьей переклички я больше не слышал. А свет накатывался волнами: вот уже стали заметны на фоне бледнеющего неба черные вершины сосен и дрожащая золотая капля над ними — Венера; еще немного — стали заметны кружевные ветви берез, а Венера побледнела. Еще чуть-чуть — и заголубело что-то радостное по всему лесу...

Под моими сапогами вода, сонная, тяжелая. Дорога постепенно уходит под нее. Так и должно быть: весна нынче дружная, быстро скатываются снеговые воды в низины, в болота.

Время от времени останавливаясь, прислушиваюсь, не обожжет ли радостью глухариная песня? Нет, тишина!

А воды в болоте порядочно. Поднимаю отвороты сапог — ее уже почти по колено. Это не беда, но вот позванивает что-то тоненько и чуть шуршит. Утренний хрусткий морозец затянул верхнюю воду в болоте тончайшей пленкой игольчатого льда, и теперь эта пленка все шире разбегается по разливу и даже здесь, под соснами, стеклянно звенит, шепчется.

Опять останавливаюсь, прислушиваюсь. Легкая зыбь, вызванная моими шагами, качает ледяную пленку, разбегается все дальше, дальше, выдает меня. Стою долго, пока не замирает звон тонкого льда. И тогда я слышу глухариную песню вправо от себя. Ага, еще один поет — прямо впереди. И влево пощелкивают, пошипывают еще две птицы. Но как теперь подобраться к ним? Стоит шагнуть — и опять закачается вода, зазвенит, заговорит на ней ледок. А глухари то и дело прерывают свои песни, чтобы прислушаться, приглядеться к лесной тишине. И стоит им услышать звон ледка — пропала моя охота.

Была не была, но я пришел охотиться, значит, надо попытаться «подскакать» к глухарю, ну хотя бы к тому, что вправо. Кажется, он ко мне ближе, чем другие. Но подскакивать не приходится, приходится просто брести по колено в воде. И сразу же ледок

заговорил, зазвенел, зашуршал. И вдруг тяжелое хлопанье мощных крыльев...

Спугнул! Этого и надо было ожидать. Попробую подойти к тому, что шипит и пощелкивает впереди меня...

И снова неудача!

Не вышло — не надо! А вот присесть отдохнуть не мешало бы. Нахожу корягу-валежину, черным зверем торчащую над водой, пристраиваюсь на нее.

Почти совсем рассвело. Венера исчезла. Вершины сосен стали зелеными, стволы их слабо бронзовеют. Небо чистейшей и глубочайшей голубизны, восточный край его прозрачно зеленый и начинает золотиться.

Передо мной старая, понизу поросшая кустарником просека. Затопленная водой, она похожа на небольшую спокойнейшую речку среди сосен.

И тут начинается свою песенку рябчик.

Сравнить ее со сказочной серебряной дудочкой? Нет, не то. Со стеклянной? Нет, нет, грубо! Ни с чем не сравнишь ее, эту песенку, прозрачную, звенящую. Всего две-три нотки в этой песенке, но какая сна и страстная и робкая.

Певцу откликается другой, а затем начинается такая перекличка рябчиков, что я в недоумении оглядываюсь: да сколько же их здесь, в этом глухом болоте, куда человек заглядывает один раз в году?

Но какой это чудесный, радостный хор. На время он звучит громче песен всех других птиц: и зябликов, и дрозда, и каких-то пичуг. Поют только рябчики. Сегодня, в этот миг, они главные певцы леса.

Но проносится над вершинами сосен ястреб, и хор рябчиков вмиг смолкает. Долго жду, не запоют ли снова. Нет. Отпели свое утреннее. Вот опять заливаются зяблики, вот жаворонка слышно, вот певчий дрозд голос подал...

И все эти голоса — песня свету, весне!

Вода у моей коряги начинает покачиваться, и покачиваются иглы-льдинки на ней. Кто-то идет. Да это мой товарищ! Он молча подходит к моей коряге, садится и продолжает молчать. Да и мне не хочется говорить — слушал бы и слушал эту песню свету.

Долго сидим так. Сидим, пока вершины сосен не загораются теплым золотом. Выходит солнце.

Мой товарищ встает, смотрит на часы, и все становится обычным, будничным, не таким, как полчасика назад.

— Пора домой, — говорит он. — Кончились утренние песни!

Ну что ж! Впереди трудовой день. Но это утро не забудется ни в какие будни!

ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!

НОЧЕВАЛ бы у меня. А то дорога лесная, морозно. К заре только-только до дома добредешь.

— Нет, спасибо! Пойду. Дорога накатана, мороз пешему не страшен...

— Гляди, дело твое... Путь добрый!

Спускаюсь по особенно скрипучим в мороз ступенькам крыльца, развязываю уши меховой шапки, перекидываю поудобнее ружье за плечом и иду деревенской, уже уснувшей улицей.

Вот и последняя в порядке улицы изба — дальше поле...

За полночь. Позади меня, в деревне, начинается перекличка петухов — нет без нее деревенской ночи. Скрипят мои валенки по дороге, чуть заметный ветерок с севера обжигает лицо, но скоро я перестану замечать его, притерпелся.

Туманно сереет поле, полозницы дороги едва видны, и смутно вырисовываются кусты в густом сивом инее. Но сейчас и он кажется темно-серым. Серы облака, лишь в середине их черным провалом чистое небо и в нем несколько звездочек, дрожащих от холода.

В словую чащу, куда ныряет дорога, вступаю, как в знакомый уютный дом. Здесь теплее, чем в поле.

Но зато здесь и темнее, совсем черно в чаще селей, откуда иногда к самой дороге выдвигаются се-

рые березы, и даже в этой тьме видно, как сказочно богато увешаны они пышным инеем.

Дорога выбегает на косогор. Внизу широко разлеглось болото. Но теперь оно кажется полем. Черной стеной встает за ним бор...

Опять дорога ведет меня в чащу. Но ели редеют, и вот я вижу что-то, тлеющее багровым углем среди хвои.

Поднимается месяц...

Весна в этом году непростительно задержалась где-то на юге. Вот уже и апрель наступил, но лишь в полдень солнце вызывает робкую капель. Через час-другой нет этой капели, мертво виснет с крыш ледяная бахрома сосулук. Не тронулись еще сугробы, так же девственно белы они, как и среди зимы.

Но все же этот багрово-тусклый месяц, запутавшийся в хвое, в последний раз в эту зиму видит снега. Выйдет он на небо через четыре недели — исчезнут сугробы. И мне становится веселее. Дождемся и весны, не может быть иначе!

До следующей деревни еще пятнадцать километров. Но скучен ли зимний путь тому, кто сроднился с этими лесами? Нет! Ноги легко несут меня, вольно дышит грудь, зорки глаза. Они видят, что редеет сумрак, резче на фоне неба лапы черных елей. Ах, вот что! Крепнет к рассвету мороз, совсем очистилось от туч небо, сколько звезд над лесом! Почему я до сих пор не замечал этого? Не потому ли, что лесная дорога подобна горному ущелью — небо узкой полоской висит над ним. А тут, на шири, далеко отступили сосна от сосны, все небо видно мне. И месяц виден: он побледнел, стал словно бы меньше, но свет его, золотисто-зеленый, колдовской, все полнее заливают лес...

Проходит совсем немного времени, и месяц плывет уже высоко над лесом, спокойный и величавый. И как светло в лесу, и какие черные тени перекрещивают зелено-серебристые сугробы, и какая тьма, густая, черная под лапами елей, теми лапами, что спустила каждая ель в сугроб. Но верхние ветви елей в снежных подушечках тепло зеленеют густейшей зеленью, и подушечки на них парчовые, в золо-

тых и серебряных нитях, в прозрачно-синих, фиолетовых, алых, кровавых, желтых самоцветах...

Какая тишина, какая торжественная и чуткая тишина! Только зимней почью в лесу по-настоящему слышишь ее, нет, чувствуешь всем своим телом. Боишься погромче вздохнуть: не нарушить, не разбить бы ее неосторожным вздохом!

Дорога идет с горушки на горушку. Лес сверкает золотом и самоцветами, но и полозницы дороги подобны двум холодным сверкающим ручьям, что беззвучно текут и текут вдаль и никак не могут слиться в один, ослепительно сияющий ручей...

Все же надо отдохнуть. Нет, курить не хочется. Просто постоять несколько минут с обнаженной головой, прислушаться к лесной тишине.

Стою. Слушаю. И вздрагиваю, медленно поворачивая голову к тому странному, что доносится ко мне из лесной глубины.

Пора надеть шапку, но не хочется — надо слушать и слушать это, удивительное, древнее, как и сам лес.

Опять, опять! Итак, ты пришла, весна! Здравствуй!

Медленно надеваю шапку. Стараюсь дышать еще тише, как будто мое дыхание услышит ночной певец — красавец-глухарь.

Что ему мороз, лунное сияние, если пришла пора для его песни!

Слышу, будто костяные палочки ударяются друг о друга. Тишина. Это он прислушивается, потом страстно зашипит, словно кто косу точит. И пока издает эти странные шипящие звуки, ничего не слышит, не видит, охваченный весенней страстью.

Ружье у меня за спиной. Но к чему оно? Разве можно стрелять по первому певцу весны? Есть слово грех, но выстрелить сейчас по глухарю — нет этому названию.

Опять костяной клекот, опять шипенье, снова клекот, снова страстное, захлебывающееся шипенье.

Знаю: вытянулся сейчас огромная черная птица с бронзовым отливом по шее, с мощным клювом и красными бровями над кмурыми глазами, вытянулась вдоль сука высоко над землей и поет, поет и

останавливается, чутко прислушиваясь, не треснет ли сучок под ногой врага. И опять поет, поет...

Эта песня не нарушает тишины ночи. Она лишь подчеркивает ее, делает еще более глубокой и торжественной. Величавой, прекрасной кажется эта ночь, но и хрупкой, как тонкое стекло: чуть звук погромче — и рухнет эта тишина, звеня и дробясь миллионами сверкающих, острых обломков.

Нет конца этой медлительной ночи...

Но внезапно что-то взрывается гудящим, воющим грохотом. Что-то мерно рокочет, то почти смолкая, то наращивая свой гул. Вдрагивают лапы елей, и сыплется с них серебро инея легчайшими белыми искрами. Смолкает глухарь.

— Готово! — доносится из-за дорожного поворота чей-то радостный крик.

Я повожу плечами: продрог-таки, слушая глухаря. Иду на рокот и гул, на голос. Черны силуэты двух человек, копошащихся у трактора, остро пахнет теплым машинным маслом, отработанным газом.

— Час целый бились, пока снова завели, — озабоченно, не глядя на меня, но как давно знакомому человеку говорит мне тракторист, обтирая руки ветошью. — Нашли все-таки причину! Теперь без остановки до места докатим. Который час? — спрашивает он меня. — Не рано уже! Садись, Николай, в кабину, не ночевать же здесь!

— Из ремонтной мастерской в колхоз трактор ведете? — догадываюсь я.

— Точно! И то задержались. Весна она — вот! Вечером лег — за окном зима, утром встанешь — нет зимы, весна прилетела. Ты на это не смотри, что морозно. Выдерживает весна свой характер!

Жестко, по-железному хлопает дверца кабинки. Мотор начинает ворчать баском уверенно, деловито, по-рабочему. Оживают, начинают лязгать сверкающие гусеницы тяжелой машины, натужно скрипит под ними снег, печатаясь ровными плотными пряниками.

Опять я один. Поднимаю голову к небу. Месяц забрался еще выше, стайка тончайших прозрачных

облачков прибилась к нему и не может, не хочет плыть дальше, в неведомую синь.

Но свет месяца уже не тот колдовской, а полный зеленого золота и спокойствия, будто вылил он на землю все свое богатство и устал...

Смотрю на лес — и он будто потускнел, опали с него самоцветы. Сломалась звенящая зеленым хрусталем морозная ночь...

Да, сломалась! Поднимаюсь на пригорок, слева от него опять равнина и черная щетка бора за ней. А над черной щеткой этой мутная белизна и розовая полоска зари. И опять тянет оттуда острым, бодрым ветерком...

Здравствуй, весна!

ГРИБНЫЕ ДНИ

АННА с вечера позабыла завести часы, и теперь в горнице было необычно тихо. За запотевшими окнами смутно голубел рассвет. На дворе заорал петух, хрипло и сердито. Потом в дальнем конце села пропел высоким жалобным голосом пастуший рожок.

Напоив и подоив корову, Анна погнала ее к мычащему на улице стаду.

Позавтракала наскоро. Печь топить не стала — утреннее время сегодня дорого для другого. Накинув на плечи старенькую ватную фуфайку, взяла корзину и заторопилась к бору, еще не видному за туманом.

Не по-летнему прозрачной и холодной была вода в дорожных коленях. Трава, обильно сбрызнутая росой, начала буреть, но тем ярче казалась молодая озимь за придорожной канавой. Потом к дороге подступили кустарники, и Анна перестала торопиться. Думы пошли какие-то спокойные, немножко грустные...

Вот и осталась одна в дому — весной дочку Полю замуж выдала в соседнее село, два сына тоже

женились, отошли от дома, своими семьями живут и то хоть хорошо, что в своем районе, неподалеку. Младший, Сергей, отслужив свое в военном флоте, так и остался моряком, только уже не на военном корабле. Уговаривала его Анна домой вернуться, жить при матери, так нет головой закрутил: «Видимо, мама, мне век моряком быть, полюбилось мне море, не уйду с него. А тебе зачем одной жить? Братья к себе зовут, Поля. Живи с кем хочешь, а свою семью заведу — ко мне приедешь». А того не хочет понять, что Анне из своего села, из колхоза никак уходить неохота. Не старуха еще — работает посильно. А люди все свои рядом, с ними век прожит. Нет, не уйти, крепко корень здесь пущен...

С этими мыслями Анна и вошла в бор. Порадовалась — туман редеть начал. Потянул легкий ветерок, затеплились макушки сосен — солнце всходит. И совсем убавила шаг, беззвучно пошла серыми мхами, как и подобает настоящему грибнику, такому, что в лес не баловаться пришел, а по большому и хорошему делу, за грибками, которые в лесу живут.

А вот и он, красавец, высунул из мха свою бурую, почти черную шляпку, ну прямо-таки как маленький, крепко пропеченый ржаной хлебец. Так сердце радостью и обдало! Анна опустила на колени, нащупала толстенькую ножку белого грибка-боровичка, осторожно подрезала ее.

Ах, как тихо в бору! Только вечный труженик дятел где-то сухоподстоину долотит да синички попиныкивают. Не весенний теперь лес, тихий. Не вставая с колен, Анна осмотрела мох, усыпанный старыми хвоинками, прошитый жесткими стебельками белоуса, веточками брусники. И опять стало тепло на сердце: вои еще один буренький выглядывает среди хвоинок, а рядом еще два. Добрый почин!

* * *

Третью неделю теплоход держал курс на юг, третью неделю моряки не видели берегов. Все шло, как обычно, работа скучать не давала, но монотонность плавания уже томила, и конец рейса был еще не близок. Давно ли, кажется, выходил теплоход из

Кольского залива и над ним дрожала, переливалась в небе, промерзшем до звона, многоцветная лента северного сияния, давно ли за бортами тяжело бугрилась серо-зеленая зыбь северных океанских вод. Но как-то незаметно сменилась она синевой тропических морей, и небо стало выше, синее, и солнце с каждым днем все выше, к зениту, всплывает, а закаты все ярче, облака пышней.

Но красота эта пригляделась, надоела. День за днем одно и то же — короткий рассвет и сразу — день, знойный и душный даже на палубе, внизу же, в помещениях, рубаха, липкая от пота, льнет к телу. И стала нарастать раздражительность. Не поддавались ей лишь те, кто уже много лет плывал, кому и север и тропики были не в диковинку.

Варичев, помощник капитана, ведающий кроме своей морской вахты на мостике делами хозяйственными, довольно скучными, с утра был раздражен, сердит на всех, а более всего на один из своих зубов, породивший совсем некстати, «великолепный», по мнению матросов, флюс. И приход корабельного кока тоже рассердил помощника, хотя сердиться было и нельзя, кок явился, как говорится, по долгу службы, вернее получить распоряжение о том, что на сегодня готовить ксманде.

— Хоть бы сегодня инициативу проявил, — проворчал Варичев, потирая щеку над больным местом. — Не первый год плаваешь. Выдумывай и твори. А то каждый раз: «что на завтрак, что на обед, что на ужин?», — передразнил он кока.

— Меню придумать можно, — вслух размышлял кок, человек обстоятельный и неторопливый. — Да ведь, порядок того требует, чтобы вы меню утвердили.

Недовольно ворча, вышел из каюты, а Варичев уткнул голову в подушку. Постояв на палубе, подмавав, кок зашел к своему земляку-вологжанину Сергею. Тот, в одних трусах, сидел перед маленьким зеркальцем, чистил электробритву.

— День добрый!

— Также и тебя с добрым днем, — ответил Сергей. — Присаживайся и рассказывай, почему ты в такой задумчивости.

— Задумаешься, — сказал кок. — Пришел к Вачичеву, давайте меню, говорю, придумать, а Вачичев за свой флюс держится и языком боится его потревожить. Придумывай, говорит, сам меню, а меня не тревожь. Вот я и задумался.. А ты панамские щи едал? Не сварить ли их для веселья?

— Не слышал о таких щах, — рассеянно отозвался Сергей, и бритва мягко зажуужала в его руке. — Рассказывай.

— Это, земляк, давненько было, ты еще тогда пешком под стол ходил, — начал кок. — Во время войны. Приняли мы в Америке для нашей страны пароходы типа либерти. Слышал про такие? Ну, вот. Надо их нам перегнать через Панамский канал в Тихий океан, ну и дальше во Владивосток. Пришли к каналу. Стоим. Ждем своей очереди. Вдруг зовут меня к капитану. А я и тогда уж коком работал. Второй год. Сидят у капитана в каюте панамцы. Черненькие такие, с усиками, вежливые. Капитан мне и говорит: «Белкии, панамцы хотят наших советских моряков обедом угостить. Гостеприимство и уважение. Понятно? И хотят они сварить русское национальное блюдо — щи. Понятно? Так вот расскажи, как и из чего щи варят, я им твой рецепт переведу, они его запишут». Дело, говорю, не хитрое, для щей нужна капуста кислая или свежая, картошечка, мяско хорошее, лучше всего баранинка, ну зелень всякая — петрушка, синдерюшка, лук и прочее. Сметанкой иные любят щи заправить. Одним словом, все что надо рассказал. Они, панамцы, с усердием мои слова записали, мне руку жать стали. Ну и вот...

— Ну и что? — спросил Сергей, обтирая лицо одеколоном.

— А ничего. Я на том торжественном обеде не был, а ребята вернулись и на меня: «ты, мол, чего такого панамцам насоветовал, какие там русские щи? Нас с этих щей наизнанку выворачивает. А есть пришлось. Нельзя! Дипломатия!» Что ж, оказывается: панамцы от всей доброй души в щи всякой своей зелени положили, — и бананов, и ананасов. Это зелень, по-ихнему! Вот те и панамские щи.

Сергей полез за чем-то под койку, выдвинул из-

под нее посылочный фанерный ящик. Кок повел носом:

— Серега, никак грибами пахнет? Сушенными. Откуда этот запах?

— Из ящика. За час до отхода судна мне посылку с почты от матери доставили. Носки там шерстяные, еще кое-что, а главное — сушеные белые грибы. Не понимает, что мне варить их не приходится. Кабы я семейный был, а то...

— Отдай-ка их мне. Наварю грибного супа. На всю команду тут хватит...

— Бери, не жалко. Только ящичек верни, надо матери обратно послать чего-нибудь интересного.

* * *

Из раскрытых дверей камбуза крепко пахло грибами. Запах этот диковато-лесной и в то же время какой-то свой, домашний, был таков, что почти каждый из моряков, проходивший мимо камбуза, оставался, спрашивал неуверенно:

— Вроде грибы?

— Они самые, — сдержанно отзывался кок. — Жди обеда.

А за обедом разговоры были о грибах, о своих родных лесах где-то там далеко-далеко на вологодской, новгородской, ярославской земле или в Сибири. Словно успокоил всех, снял раздражение людей этот совсем было позабытый запах грибов.

Тропические звезды сияли в черном небе. Мерно покачивалось судно носом на юг, только на юг. И под этим звездным, не родным небом тонкий запах грибов из столовой, из камбуза, где он задержался, напоминал всем о далекой и такой хорошей Родине...

* * *

Анна вязала, сидя у стола, позванивая спицами, иногда поглядывала на окно, на промерзших стеклах которого слабо зеленел лунный свет, думала, что крепкий морозец ко времени хорош, быть, значит, жаркому лету. Потом отложила вязанье, достала из стола уже несколько раз перечитанное письмо от сына и снова принялась перечитывать его, шевеля губами, как будто беседуя с Сергеем.

«За сушеные грибки большое спасибо, — писал он. — Все с нашего судна тебе спасибо за них посылают. А я, когда грибной суп ел, то раздумывал — плавать ли мне и дальше или на свои родные места податься. Так бы и походил с корзиночкой по нашему бору, искал бы грибков. Так иной раз сердце по родным местам затоскует. Ну, ладно, мама, что решу — о том напишу. А пока остаюсь...»

Мороз стукнул по стене дома. Опять, как и тогда, осенью, на дворе проголосил петух. Полночь. Тикали, разговаривали-уговаривали кого-то часы на стене, пахло в доме печеным хлебом и тонко-тонко — сушеными грибами, что хранились у запасливой хозяйки в мешочке над печью...

СОДЕРЖАНИЕ

Древний оклик	3
Осенние озера	10
Крутилиха	21
Левый берег	26
Плаксун	31
Васино озеро	36
Отшельник с Вельбы	42
Лебеди	49
Марколенда	50
На дальний зов	53
Огонь в ночи	61
Степан-простота	65
Утро на Унж-озере	71
Поспела ли малина?	79
Уха на палке	81
Песня свету	82
Здравствуй, весна!	85
Грибные дни	89

Виталий Всеволодович Гарновский
ОСЕННИЕ ОЗЕРА

Редактор *Е. Ф. Богданов*

Обложка *В. С. Иванова*

Художественный редактор *В. С. Вежливцев*

Технический редактор *С. И. Соколова*

Корректоры: *А. А. Фонтейнс, Н. К. Галкина*

ГЕ00106.

*

Сдано в набор 30/VI 1969 г. Подписано к печати 22/X-1969 г.

Формат 84×108/32. Бумажных л. 1,5. Печатных л. 4,92.

Уч.-изд. л. 5,72.

Тираж 30 000.

Заказ 4344.

Цена 17 коп.

Северо-Западное книжное издательство.

Архангельск, пр. П. Виноградова, 76.

Областная типография, г. Вологда, ул. Калинина, 3.

17 коп.